

Алексей Самойлов

ЕДИНСТВЕННАЯ

ИГРА,

В КОТОРУЮ

СТОИТ

ИГРАТЬ

Книга
не только
о спорте



ГУМАНИТАРНАЯ
АКАДЕМИЯ

Алексей Самойлов

**Единственная игра, в которую
стоит играть. Книга не
только о спорте (сборник)**

«ИП Князев»

2014

Самойлов А. П.

Единственная игра, в которую стоит играть. Книга не только о спорте (сборник) / А. П. Самойлов — «ИП Князев», 2014

ISBN 978-5-93762-113-9

В новую книгу петербургского писателя и журналиста Алексея Самойлова вошли мемуарные очерки, литературные портреты, эссе о людях игры. Среди героев книги, со многими из которых автора связывало многолетнее знакомство, – король футбола Пеле, шахматные монархи Михаил Таль и Борис Спасский, лучший хоккеист всех времен Всеволод Бобров, гениальный баскетболист Александр Белов, великие тренеры Владимир Кондрашин и Вячеслав Платонов, легендарные актеры Николай Симонов и Иннокентий Смоктуновский, классики русской литературы XX века Василий Аксенов, Андрей Битов, Иосиф Бродский, Юрий Трифонов, замечательные ученые Александр Зайцев, Дмитрий Лихачев, Мераб Мамардашвили и другие. Издание снабжено уникальными фотографиями из семейного архива автора.

ISBN 978-5-93762-113-9

© Самойлов А. П., 2014

© ИП Князев, 2014

Содержание

Любовь и свобода	6
Часть I. Сон об Эдсоне	9
Сон об Эдсоне[2]	9
СССР – Бразилия	9
Футбол и Победа	10
Король, артист, бог...	11
Пеле как миф	11
Не только за талант...	12
Против всякой логики	13
Он был на матче «Зенита» с «Динамо»!..	14
Первый дубль, или как это было на «Раздане»	15
Перед своим незапятнанным голом	21
Боброву равных не было и нет	25
Рациональный романтик	30
Бесков, победитель англичан	30
Красота и результат	30
Понимание игры	31
Режиссер футбольного театра	32
Таланты с подрезанными крыльями	32
В немецком пивном ресторане...	33
Он ушел с обидой	33
Гений во всём	35
1. Небесный вратарь. Реквием по Талю	35
2. Душа моя – только человеческая	37
3. В Ригу к Талю. Десять лет спустя	40
Превзошедший самого себя	44
Сокрушительные удары	44
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Алексей Самойлов
Единственная игра, в которую стоит
играть. Книга не только о спорте

© А. П. Самойлов, 2014

© Издательский Центр «Гуманитарная Академия», 2014

* * *

Одно я знаю: меня тянет рассказывать. Рассказывать – по-моему, единственная игра, в которую стоит играть.

Федерико Феллини

Если подумать спокойно, невозможно побороть в себе любовь ко всему безвозвратно ушедшему.

Кэнко-хоси

Любовь и свобода

Вступление

Когда в октябрьский полдень 1968 года на Олимпийских играх в Мехико темнокожий американец Боб Бимон совершил сверхдальний прыжок в длину – 8 метров 90 сантиметров, к нему подбежал товарищ по команде Ральф Бостон, чей мировой рекорд он сокрушил, и закричал: «Man, it's impossible!» («Человек, это невозможно!»¹).

Истинные свершения человеческого духа осуществляются на пути от возможного к невозможному. «К невозможному летят наши души» – писал Андрей Платонов, чьи слова были путеводными для кинорежиссера Элема Климова, называвшего спорт формулой гармонии. Гармонии в ее универсальном, эллинском смысле: в рождении олимпийского агона (состязания на языке древних греков) участвовали поэты, музыканты, философы.

Спорт из всех сфер человеческой деятельности для меня ближе всего к философии и искусству. Мераб Мамардашвили называл философию осколком разбитого зеркала универсальной гармонии, попавшим в глаз или в душу. «Попал осколок, и сразу человек смотрит иначе. Иначе смотреть – это значит видеть не предметы, а гармонию. И ты видишь, потому что ты приведен в движение невозможностью возможной гармонии».

Художник, если это истинный творец, всегда ставит перед собой задачи, превышающие его возможности, находящиеся за пределами человеческих сил. И в спорте атлет стремится преодолеть непреодолимое, прорваться к себе новому. Как и в искусстве, человек приводится здесь в движение невозможностью возможной гармонии. В этом смысле спорт – опыт невозможного. Этот попавший в душу осколок разбитого зеркала гармонии есть, по Мамардашвили, иносказание страсти свободы.

У свободы есть и другие синонимы – жизнь, игра, любовь.

*Любовь и свобода –
Вот всё, что мне надо!
Любовь ценою смерти я
Добыть готов,
За вольность я пожертвую
Тобой, любовь!*

Шестьдесят лет назад я, восьмиклассник петрозаводской школы, выписал в читательский дневник это стихотворение Шандора Петефи, погибшего в середине девятнадцатого века за свободу Венгрии. Этот дневник я вел по совету нашего словесника, директора школы Александра Сергеевича Александрова, писал об «Избранном» Петефи, «Студентах» Юрия Трифонова, повестях Веры Пановой. В школьном литературном кружке делал доклад о Гоголе; с 1947 года, когда мама подарила мне на одиннадцатилетие громадный фолиант Гоголя, я не расставался с ним; обмирал от ужаса, читая «Вия», разыгрывал перед бабушкой «Ревизора»; обиделся смертельно на Оню Ивановну Лапину, режиссера драматической студии Дворца пионеров, за то, что назначила меня играть Артемия Филипповича Землянику, попечителя богоугодных заведений, а не Ивана Александровича Хлестакова; в «Мертвых душах» многое знал наизусть, любимыми персонажами были Собакевич и слуга Чичикова Петрушка, которому было все равно что читать – похождения ли влюбленного героя, букварь, молитвенник или химию. Молитвенника в доме не водилось, зато были сталинские «Вопросы ленинизма»,

¹ Встречался мне и другой перевод: «Чувак, это невозможно!»

«Агрохимия» академика Прянишникова и четыре тома «Войны и мира». Все это я перемолол еще до Гоголя. Бабушка называла меня «читарем» и гнала во двор поиграть с ребятами: «Не то все бока отлежишь, лежень...»

Когда я открыл для себя Андрея Платонова, то нашел у него это слово – «лежень», и даже задумал книжку путевой прозы «Лежень. Записки перелетного человека». По складу ума я созерцатель, лежебока-читарь, совсем как Петрушка, не перестающий удивляться тому, что из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит. А по натуре и по профессии путник, путешественник, артист, игрок, любознательный сверх меры Алеша-почемучка из книжки Бориса Житкова. Почемучку легко превратить в читаря – дайте ему книжку с картинками и положитесь на его природную любознательность. Так и со мной родители поступили, подсунув тома Брема, и когда отец уходил на войну с белофиннами, он поднял меня с ковра вместе с бремовскими птицами, потрепал по волосам и ушел. Я так и не выпустил книгу из рук... Отца больше я не видел. Главный агроном Наркомзема Карелии, он командовал артиллерийской батареей и погиб в Приладожье...

Начинал я учиться читать по Брему в конце тридцать девятого, а выучился по сводкам Совинформбюро в сорок первом, в Астрахани, куда нас эвакуировали из Петрозаводска. ЦК Компартии Карело-Финской ССР, где работала мать, переехал из столицы республики на север, в прифронтовой Беломорск. Она была, как и отец, агрономом, заведовала в ЦК отделом сельского хозяйства, после войны работала заместителем председателя Совета министров республики, в январе 1951-го была избрана секретарем ЦК КП(б). Характеристика на Малютину Нину Ивановну, хранящаяся в секторе учета кадров Государственного архива Республики Карелия, подписана вторым секретарем ЦК Ю. В. Андроповым. Мама и Юрий Владимирович учились на заочном отделении Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б) и обменивались конспектами по истории Великой французской революции.

Кто из них законспектировал главы по якобинской диктатуре – не помню. Мама говорила, что Юрию Владимировичу нравился Робеспьер. А вот игры с мячом, особенно футбол, в нашем большом дворе между Закаменским переулком и Парком пионеров (ныне Губернаторский сад), Андропову были не по душе. Направляясь на работу, он однажды остановил меня, грязного, с рассеченным лбом, мчавшегося домой зализать раны и снова биться до глубокой ночи с ремеслухой: «Я слышал, как ты по радио “Бородино” читал. Молодец, хвалю. А вот скажи, неужели тебе доставляет удовольствие месить грязь и бить по тяжелому мокрому мячу головой?» Я торопился домой, но заверил мамино сослуживца, что мне нравится играть в мяч не меньше, чем читать книжки, и что наш сосед по дому на Герцена, 10, Вольдемар Матвеевич (В. М. Виролайнен был тогда предсовмина Карелии) играет в футбол, как настоящий мастер... Андропов только вздохнул и пошел с поднятым воротником своего длинного габардинового пальто в главное учреждение Петрозаводска на площади Ленина.

Вольдемара Матвеевича Виролайнена и первого секретаря ЦК Геннадия Николаевича Куприянова в 1950 году исключили из партии, освободили от работы, арестовали и посадили – и до Карелии докатилось эхо «ленинградского дела». Через полтора года после расправы над руководством Карелии, учиненной Маленковым с одобрения хозяина Кремля, Андропова и Малютину было решено перевести в ЦК ВКП(б). В Москву, однако, мы не переехали: у мамы, никогда ничем не болевшей, даже не простужавшейся, при углубленном медицинском обследовании в Кремлевской больнице обнаружили язву желудка, прооперировали, после чего она еще поработала недолго и снова попала в Кремлевку, где ее разрезали и увидели обширные метастазы... Умерла она 14 ноября 1952 года, не дожив двенадцати дней до сорока лет.

Ее болезненный, вечно простужавшийся сослуживец, наш сосед по дому счастливо избежал тюрьмы, сумы, ранней смерти и стал одним из советских вождей. Будучи послом СССР в Венгрии, Андропов сыграл не последнюю роль в событиях осени 1956-го, когда наследники

Петефи подняли в Будапеште восстание за свободу и независимость своей родины, народное восстание, беспощадно подавленное советскими войсками.

*За вольность я пожертвую
Тобой, любовь!*

Через полвека расправу тоталитарной карательной машины с защитниками вольности и прав назвали бы принуждением к миру. Или принуждением к свободе.

Вообще-то «принудить человека – значит лишить его свободы». Утверждавший это сэр Исайя Берлин, философ и историк, родился в начале прошлого века в Риге, прожил революцию в Петрограде и умер в Лондоне на излете двадцатого столетия, которое он называл худшим из известных. Само слово «свобода», отмечает Берлин, настолько рыхло, что подлежит любой интерпретации.

«Свобода и равенство – первичные цели, к которым веками стремились люди, но абсолютная свобода для волков – это смерть для овец, – говорится в эссе Исайи Берлина “Два понимания свободы”. – Полная свобода для сильных и одаренных несовместима с тем правом на достойное существование, которое имеют слабые и менее способные... Равенство может ограничить свободу тех, кто стремится властвовать. Свободу (а без нее нет выбора и, значит, нет возможности остаться людьми) – да, саму свободу иногда надо ограничить, чтобы накормить голодных, одеть не одетых и приютить бездомных; чтобы не посягать на свободу других; чтобы осуществлять справедливость».

Выбирая между свободой и справедливостью, свободой и равенством, свободой и экономической эффективностью, свободой и любовью, человек неизбежно жертвует одной высокой ценностью ради другой, не менее высокой и гуманной. Всегда ли оправданы, всегда ли необходимы эти жертвы? Надо ли жертвовать любовью ради вольности?.. Моря крови пролиты в нашей бескрайней и беспощадной стране, а много ли свободы и любви прибавилось на продуваемых ледяными ветрами, плохо обустроенных для человеческой жизни территориях?..

Неужели это недостижимо, невозможно? Но ведь к невозможному летят наши души! «Только любящий знает о невозможном, – слышим мы голос Андрея Платонова, – и только он смертельно хочет этого невозможного и делает его возможным, какие бы пути ни вели к нему».

Только любящий, только свободный человек способен сделать невозможное возможным.

2011

Часть I. Сон об Эдсоне

*Жизнь подобна игрищам. Иные приходят на них состязаться,
иные торговаться, а счастливые – смотреть.*
Пифагор Самосский

Сон об Эдсоне²

СССР – Бразилия

Сорок лет назад, летом 1965 года, мне приснился сон, который оказался в руку, вернее, с учетом его содержания, в ногу.

Снилось мне – недели за две до матча СССР – Бразилия в Москве, куда я собирался из Петрозаводска с заездом в Ленинград, – что Пеле летает, как диковинная птица над лужниковским газоном, а мяч, привязанный невидимой ниткой к его бутсам, порхает над ногами-косами противника и залетает в наши ворота – и раз, и два, и три...

Проснулся я потрясенный и огорченный. Потрясенный полетным бегом короля футбола и огорченный тремя сухими голами, пропущенными советской сборной.

Остановка в Ленинграде дорого мне обошлась, мы отмечали чей-то день рождения, потом продолжили; «свирепей дружбы в мире нет любви», а мы недавно расстались после университета, распределились кто куда – от Петрозаводска до Камчатки и пользовались любой оказией для утоления свирепости дружбы, хотя бы поездкой в столицу на матч, который ни один футбольный сладкоежка не мог пропустить.

Пришлось, однако, пропустить: дружба с ее неизбежными, особенно в молодости, подавляющими-возлияниями свирепей даже любви к футболу.

Матч наших с бразильцами в Москве (еще в студенчестве в пятьдесят восьмом в доме нашего товарища Бори Грищенко на проспекте Маклина мы провели свой, параллельный шведскому, чемпионат мира по пуговичному настольному футболу, в финале «бразильцы» выиграли у СССР 5:3), тем не менее мы по «ящику» посмотрели. Меня подняли на смех, когда за час до трансляции я рассказал сон про три сухих бразильских гола, а после того, как все окончилось наяву, как во сне, едва не побили...

Это был мой третий вещий сон. Два предыдущих носили политическую окраску. В первом, еще школьных лет, меня, петрозаводского девятиклассника, вызвали в Кремль, где Хрущев и Маленков держали совет, как им поступить с врагом народа Берией (это было за месяц до сообщений о разоблачении Берии). Во втором, студенческой поры (на пятом курсе жил я в общежитии ЛГУ на Мытнинской, а в соседней за стеной комнате грызли гранит науки двое китайских аспирантов, накатавших на нас «телегу» в партком за буйное ночное пение и неуважительное отношение к великому кормчему), наши братья обиделись на нас в государственном масштабе и сосредоточили тьму тьмущую войск на китайско-советской границе: до редакционной статьи в «Правде», где советские коммунисты отвергали обвинения китайских товарищей в ревизионизме, и до боев на острове Даманский было еще жить и жить...

Политические сны – черно-белые, с преобладанием черного, цвета большого тупорылого бьюика, на нем из своего белого особняка на Вспольном переулке, неподалеку от Садового кольца и площади Маяковского, выезжал на работу Берия. В августе пятьдесят второго, прие-

² Эдсон Арантес ду Насименту известен всему миру как король футбола Пеле.

хав в Москву на чемпионат мира по волейболу и остановившись у родственников на Вспольном, я ежеутренне наблюдал Берию в салоне быюика, по переулку обе машины, его персональная и сопровождения, двигались медленно, а уже свернув на улицу Алексея Толстого, резко прибавляли ходу.

Футбол и Победа

Спортивный, бразильский сон – цветной: малахитовый, как колер газона, синий, как небо над стадионом, и шоколадный, кофейный, как окрас кожи короля игры. Эти цвета рвались под куполом сна гирляндами артиллерийского салюта – первый в жизни салют в честь очередной победы нашей армии я увидел в Москве летом сорок четвертого, когда мы возвращались из астраханской эвакуации в освобожденный Петрозаводск.

Восьмилетними, еще в войну, мы пошли в школу; на следующий год, в мае страна одержала в той войне победу, а в ноябре московское «Динамо» совершило триумфальную поездку на родину футбола, победив клубы Англии, Шотландии, Уэльса с общим счетом 19:9. Эти несопоставимые по значению события накрепко соединились в нашем сознании, футбол и Победа зарифмовались в сердцах недоиг равшего свои детские игры поколения, как кровь и любовь; чудотворцы футбола, не только отечественные, для нас освещены и освящены вечным огнем победы над всемирным злом – и кумиры детства и отрочества Бобров, Бесков, Хомич, и кумиры юности Стрельцов и Пеле.

Пеле, тогда еще просто Эдсон (полное имя короля Эдсон Арантес ду Насименту), в восемь лет, в возрасте, когда мы с тетрадиками и букварем в противогазных сумках пошли в школу, уже давал первые спектакли с мячом, собирая вокруг себя взрослых, восхищавшихся кунштюками, трюками, коленцами малолетнего шкета с осанкой, сразу видно, любимца богов.

«Сразу видно» – просто фигура речи. Надо быть Константином Бесковым, трезвым всевидцем и на «поляне», и в тренировочных лагерях, чтобы сразу увидеть и громадный дар Эдика Стрельцова, Валеры Воронина, и божью поступь Пеле. Своих Бесков в Москве высмотрел, бразильца в Швеции, на мировом чемпионате пятьдесят восьмого, куда его командировали в составе просмотрной комиссии Федерации футбола СССР. И когда он поехал на матч соперников нашей сборной по подгруппе Бразилия – Австрия и увидел бразильскую команду (Пеле в той первой игре не выходил, но звезд у них хватало), то, вернувшись в гостиницу, сказал своему соседу по номеру, журналисту Льву Филатову: «Вот увидите, чемпионом мира станет Бразилия».

Все это Константин Иванович рассказывал мне 2 мая 2002 года в пивном немецком ресторане, в нескольких шагах от своего дома и от памятника Маяковскому на Триумфальной площади, откуда доносился из динамиков голос судьи-информатора: как заведено в Москве, в этот день на площади стартовали и финишировали участники традиционной эстафеты по улицам столицы. Через месяц в Японии начинался чемпионат мира, и я уговорил патриарха отечественного футбола поделиться соображениями о предстоящих баталиях и о природе таланта игрока.

«Вот для Пеле, – сказал я, исподлобья поглядывая на мешавших течению нашей беседы молодых пивников, протягивающих знаменитому тренеру и центрфорварду 500-рублевые казначейские билеты для автографов, – для Пеле превыше всего в футболе понимание игры».

«Пеле, говоришь», – сказал патриарх с интонацией красноармейца Сухова и жестом Игоря Кио, своего старинного приятеля, достал из кармана куртки бордовое портмоне, откуда извлек три фотографии – жены, дочери и Пеле; король и патриарх, лучезарно улыбаясь друг другу, были сняты на приеме в бразильском посольстве во время последнего визита короля в Москву.

Король, артист, бог...

Гармония, явленная во плоти фотографического снимка, сопровождалась пояснениями знатока, уставшего просвещать профанов.

– Нужно сочетание определенных, доведенных до высокого уровня технических навыков, физических кондиций и тактического мастерства – если правильно мыслишь на поле, это труда не составит. Я согласен с Пеле: интеллект, ум – самое важное и дорогое в игре. Все игроки, которые выделяются, обладают высоким интеллектом. Выше всех по пониманию игры был, конечно, Пеле.

– Еще бы, – поддакнул интервьюер, – король футбола.

– Я предпочитаю другое определение: Пеле – выдающийся артист футбола. Он исключительно эффективно действовал перед чужими воротами – мог и организовать атаку, и забить гол. Пеле потряс меня в Швеции: то, что делал этот семнадцатилетний мальчишка в самых разнообразных игровых ситуациях, было бесподобно. Обыкновенному игроку, даже владеющему виртуозной техникой, этого никогда и ни за что не сделать.

А признававшийся лучшим футболистом СССР, защитник сборной страны Евгений Ловчев сказал мне в марте девяносто четвертого:

– Футболисты делятся на три группы. В первой Пеле – недостижимая вершина. Во второй – Беккенбауэр, Платини, Марадона, Кройфф и, конечно, Анатолич, наш Стрельцов. В третьей – все мы, остальные.

Самые талантливые бразильцы, пришедшие на смену трехкратному чемпиону мира, чувствуют фальшь, когда их сравнивают с Пеле. «Его футбол недостижим, – сказал талантливейший Ривалдо, в недавнем прошлом игрок “Барселоны” и сборной Бразилии. – Мы все – лишь маленькие, беспомощные, глупые дети, которые только пытаются понять то, что для Пеле было очевидным на поле. Пеле – не футболист, Пеле – бог. Зачем тревожить бога своими земными проблемами?..»

Но не все молятся на Пеле. Помнится, лет десять назад некий аналитик, сравнив в журнальной статье Пеле с другими суперзвездами по тринадцати позициям (видение поля, сила и точность удара, скорость бега и т. д. и т. п.), пришел к выводу, что по совокупности качеств Пеле многим уступает, что король далек от совершенства и вообще чуть ли не дутая величина...

И, знаете, аналитик-буквалист с его поползновениями измерить гармонию в чем-то важном прав. Пеле – воистину величина **дутая**. Его выдули-выдумали, вымечтали, вымолили у неба все поклоняющиеся футболу. Однажды он приснился человечеству и навсегда осел в золотой клетке его дрем, снов.

Пеле как миф

«Двадцатый век принес игру – футбол». И сон об Эдсоне принес. Этот сон – всепроникающий миф двадцатого столетия.

Случайно, конечно, но весьма показательно сопряжение в одной полувечерней-полуночной телепрограмме (Первый канал, 10 марта с. г.) двух передач на давным-давно замышленную автором тему – «Вещих снов» и документального фильма Би-би-си «Пеле».

Я посмотрел фильм англичан, обретший сновидческую подкладку стараниями визионеров Первого канала (четырьмя днями раньше также в ночи аудитория Первого галлюцинировала вместе с Ренатой Литвиновой и критиками-толкователями снов ее новой картины «Богиня»), и попытался более-менее рационально истолковать мистику странных сближений в реальной, а не виртуальной жизни.

Психоаналитики в фильме «Вещие сны» утверждали, что в сновидениях бессознательное посылает сигналы сознательному миру. А как, скажите на милость, миру сознания принять и расшифровать сигналы из темных глубин иррационального, кто или что сыграет роль шлюза-переходника между пучиной хаоса и упорядоченностью космоса (по-гречески «космос» – порядок)?

Миф, только миф. По Юнгу, это естественная и незаменимая промежуточная ступень между бессознательным и сознательным мышлением. «Миф – это вечное зеркало, в котором мы видим самих себя», – пишет в «Параллельной мифологии» английский ученый Джон Френсис Бирлайн.

Потребность в творении новых мифов – той же природы, что фантазия, воображение, игра. С новой силой она овладела человечеством, явив сон об Эдсоне, миф о Пеле, в век кинематографа (Александр Блок называл его «электрическими снами наяву»), футбола и телевидения, объединивших живущих на земле любовью к игре и сетью коммуникаций в одну всемирную деревню.

Пеле – первый парень на деревне величиной с земной шар.

Миф всегда конкретен. Обожещается, повсесердно и повсеградно утверждается особь редчайшего природного таланта; поражают воображение не количественные параметры ее производственной деятельности: 1200–1300 забитых голов и 130 хет-триков за карьеру (в конце концов количественное в творчестве может быть истолковано по-разному), а невероятная легкость творимого, творимого в условиях жесточайшего, костоломного противоборства (если бы Пеле оберегали судьи, как сегодняшних звезд, говорит в английской картине соратник Пеле по сборной и клубу «Сантос» Пепе, он запросто наколотил бы 2500 голов). Самое поразительное, что у этого голеодора, помимо гола, есть и сверхзадача на поле, которую можно только языком поэзии выразить: «Чтоб прирожденную неловкость / Врожденным ритмом одолеть!»

Пеле – величайший поэт футбола. Как говорил итальянский кинорежиссер Пьер Паоло Пазолини: «В тот момент, когда Пеле овладевал мячом, футбол превращался в поэзию».

Гений, производное человеческой славы, напоминает нам и о нашем прирожденном несовершенстве, и о возможности одолеть его таящимися в наших глубинах способностями. На всемирном плебисците славы мы голосуем за Наполеона, Пушкина, Пеле и, представьте себе, каждый из нас – за себя любимого, который и сотой доли ему отпущенного не реализовал, недолюбил, недоиграл. Ничего, Пеле, Стрельцов, Пушкаш, Платини за нас доиграют, флаг им в руки, нами, между прочим, врученный флаг, хорошо, что нынешние «звезды» и «звездочки» это осознают и благодарят прижатymi к сердцу ладонями рукоплещущие трибуны стадионов-святилищ.

Не только за талант...

Можно написать культурологический, социологический трактат о том, почему именно Пеле мир принял и вознес на недостижимую высоту. Прежде всего, само собой, за талант невиданной красоты и силы. Но не только за талант. Тут столько всего сошлось... И то, что он был из «третьего мира»; чемпионов из противостоящих друг другу стран-гегемонов лагерей-блоков остальной мир, скудно живущий и с опаской поглядывающий на двух грозно рычащих медведей в одной берлоге, недолюбливал. И то, что у маленького трюкача, родившегося с мячом под мышкой, были плохие зубы, глисты, весь букет полуголодного детства обитателей бразильских трущоб: это начало жизни Эдсона держали в уме все перебивающиеся с хлеба на квас и с маиса на подсахаренную водичку и тогда, когда он начал грести деньги лопатой, и тогда, когда дважды разорялся, пускаясь в финансовые аферы, и теперь, когда вышел на сегодняшний 20-миллионный, в долларовом исчислении, ежегодный уровень доходов. И то, что он чернокожий, а в те времена (начало второй половины прошлого века) в сборной Бразилии был

лимит на людей не с белым цветом кожи, а в ведущих бразильских клубах потомки африканских рабов присыпали лица пудрой, «обеляя» себя, и Пеле, доказавший, что расовая принадлежность никак не влияет на талант и успех, что в конечном и единственно правильном смысле «есть только одна раса – человечество», сделал для борьбы с апартеидом и ксенофобией не меньше, чем Мартин Лютер Кинг и Нельсон Мандела.

Против всякой логики

Можно привести еще с десяток причин, объясняющих, почему Эдсон Арантес ду Насименту был избран человечеством на роль Пеле, главного героя главного, на мой взгляд, мифа двадцатого столетия. Мифа о божественной сущности человека-гения, способного насытить зрелищами-хлебами ненасытное, вечно ропщущее на несправедливость земного устройства человечество, мифа о пожизненном воздаянии нам за труды праведные, за аскезу подвижнического спортивного самоистязания (в спорте непреложно правило: как потопаешь, так и полопаешь) – Пеле тут был рыцарем без страха и упрека, за что его многие и по сию пору недолюбливают, особенно в наших палестинах, где в чести разгульные, бесшабашно-безбашенные нарушители всех канонов, правил и законов.

Игре, любой, не обязательно футболу, свойственен азарт. Всякий игрок в нашем представлении – азартный Парамоша. Но азартный Парамоша только тогда у ковра, когда он нарушает каноны. Игре невозможно обойтись без их нарушения, без алогичности. Режимщикаскет, не нюхавший спиртного, правильный зануда тренировочных буден, Пеле оборачивался на поле мистификатором, великим комбинатором, клоуном, превращавшим в посмешище противную сторону. Как не согласиться с магистром игры, литературной, джазовой, футбольной, аргентинцем Хулио Кортасаром, что лучшие голы Пеле забил против всякой логики.

Алогичность – тоже строительный материал мифа. Смертельно надоедает жить в расчисленном мире, где 2×2 всегда 4, а во сне, по свидетельству изошреннейшего русского сновидца, писателя Алексея Ремизова, пространство со своей геометрией и тригонометрией летит к черту и тебе кажется, что 2×2 будет 5, из сна о себе и о другом узнаешь такое, о чем и не подозревал.

Чего такого, о чем и не подозревал, узнал я из показанного после визионерской «Богини» и «Вещих снов» фильма англичан о Пеле?

Кое-какие новые для себя факты, хотя давно собираю материалы для книги о Пеле. Толчком к ее написанию стал месяц, проведенный на родине короля, в далекой солнечной Бразилии, восхитительной стране, хотя и уступающей Вообразилии моих детских дрем, октябрь месяц 1990 года, когда вся бразильская нация отмечала круглосуточно (по крайней мере на телеэкране) 50-летний юбилей самого знаменитого бразильца; днем я по долгу службы прессатташе мужской сборной СССР на чемпионате мира по волейболу и корреспондента газеты «Известия» смотрел руками творимую игру, а утром, вечером и ночью лицезрел короля во всех ипостасях: сыщика-детектива в сериалах, певца, гитариста и, конечно, футбольного мага – и бывшего, и нынешнего, он жонглировал мячом бесподобно, готовясь сыграть за сборную мира в Италии в матче, посвященном его юбилею...

Кое-чего, действительно, о Пеле до фильма англичан я не знал, благодарен за просвещение. Но сказать, что «и не подозревал», не могу. Содержательный фильм англичан снят как воспоминание о прошлом, без учета того, что миф о Пеле живет всех живых, включая и самого Пеле, jovialного мужчины, жизнелюба неполных шестидесяти пяти лет, рекламирующего по всему миру кофе, кредитные карточки и виагру. Фильм одномерен, одномоментен, он весь в прошлом, а Пеле развернут в трех временах: в мифе прошлое вместе с будущим проявляются в настоящем.

По телику и в кинотеатрах такие фильмы-мифы не показывают. Их увидишь разве что во сне.

Он был на матче «Зенита» с «Динамо»!..

При желании сон можно запрограммировать. Захотел, скажем, сыграть в футбол с Пеле. Думай об этом денно и ночью несколько лет подряд и однажды увидишь себя и Пеле в одной команде. И если не будешь бараном, вовремя откроешься, сыграешь с королем в стеночку, услышишь его приятного тембра баритон: «Обригадо, чел!» (что в вольном переводе с португальского означает: «Большое спасибо, коллега!»), и увидишь, как король одним слитным движением перебрасывает мяч через защитников, догоняет его в полете, перекидывает через выбежавшего навстречу голкипера, вносит мяч на подъеме ноги в ворота и виснет на сетке, белозубо скалясь...

На кого только не насмотрелся я в своих снах – и на ушедших, и на живых; с одним шахматным чемпионом, жившим в районе Вспольного переуллка, наблюдал с балкона траурную процессию – сам герой, слава Богу, и по сей день пребывает в добром здравии, стоял на балконе рядом со мной и объяснял, что это его везут сейчас на Ваганьковское...

Чаще чем кого-либо последние сорок семь лет (от шведского чемпионата мира-58 считая) вижу во сне Пеле. Недавно, уже после литвиновской «Богини» и английской документальной ленты, Пеле ворвался в раздевалку на «Петровском». Там мыкало горе только что позорно продувшее «Зениту» мое португальско-московское «Динамо». Там грозный Бесков распекал за бездарность португальцев, наследников колунов, покалечивших короля на английском чемпионате мира шестьдесят шестого – после Англии короля хоронили все, кто раньше возносил: мол, он потяжелел, ослеп и вообще спекся... А король восстал из пепла и после финального матча мирового первенства с итальянцами в Мехико, через четыре года после Англии, выигранного им и примкнувшими к нему остальными бразильцами, ворвался в свою раздевалку и трижды прокричал, как сейчас под трибунами «Петровского»: «Я не умер! Я не умер! Я не умер!»

И никогда не умрет. Мифы бессмертны, как душа, как мечты, как сны.

2005

Первый дубль, или как это было на «Раздане»

Цель моей командировки – написать для журнала «Аврора» очерк о Ереванском научно-исследовательском институте математи ческих машин. Когда я говорю об этом в ЦК комсомола Армении, в редакции молодежной газеты «Авангард», в самом институте, на Совете молодых ученых республики, наконец своему другу, молодому писателю Григору, все безусловно одобряют мой выбор.

– Прекрасно – это самый молодой институт... Интересно – они работают над машинами четвертого поколения, представляете!.. Очень правильно – у них восемь лауреатов премии Ленинского комсомола страны... Очень и очень дальновидно – кибернетика, АСУ, АСУП.

Одобрят, хвалят, поощряют, а я настораживаюсь. С чего бы им так вдохновенно приветствовать мою скромную – одну из многих – попытку воспеть умных творцов умных машин, и какая уж тут дальновидность – в последней трети двадцатого века писать о кибернетике. Нет, тут что-то нечисто – со всеми этими похвалами, тут айсберг подтекста подводной частью величиной с Арарат, не меньше!

Еще бы один день похвал моей дальновидности в области кибернетики – и я, пожалуй, сам бы усек, что к чему, но меня лишили нечаянной радости прозрения. Открытым текстом, без всяких там айсбергов, – открытым тостом мой новый знакомый Миша, математик из Вычислительного центра Госплана Армянской ССР, провозгласил:

– За нашего гостя, ленинградского журналиста, понимающего, что самое подходящее время собирать материал для очерка об армянских математиках – это, конечно же, вторая половина октября 1973 года!

Миша намекал не на готовый к употреблению маджар, барашка в хорошей пашлычной форме и осенние плоды всех мыслимых оттенков. Маджар, барашек, виноград, персики, перцы, баклажаны, лобио, грецкие орехи – были, очевидно, того же качества в октябре и 1960-го, и 1965-го, и 1971-го. Соль в том, что это октябрь 1973-го. Семьдесят третьего!

– Слушай, если забудешь лет через тридцать, в каком году к нам приезжал, то пиши просто: «Это было, когда “Арарат” сделал первый дубль». И все в Армении скажут: «Господи, вот повезло человеку – он был в Ереване 28 октября 1973 года».

Но благословенному двадцать восьмому предшествовали тревожные (тогда, в дни ожидания) двадцатое и двадцать четвертое октября.

«Наше желание исполнилось – пусть сбудется наша мечта!» – таков был крик души болельщика, безмолвный крик, увиденный всеми, потому что он плыл над толпой, текущей к стадиону «Раздан» вечером 20 октября. Чтоб все смогли понять сложное иносказание (желание – мечта), с одного края полотнища, там, где про желание, был изображен Кубок СССР, с другого края – мечта: золотая медаль чемпиона. Окончательную ясность – то, что кубок и золотые медали желают одной и той же команде, – вносил портрет Левона Иштояна, которому на этом транспаранте рукой подать до Кубка и до медали. Собственно, кубок уже был у Левона и его товарищей в руках. А вот от золотых медалей «Арарат» отделяло такое же пространство, как и киевское «Динамо». Перед последними тремя турами лидеры набрали одинаковое количество очков, и, как утверждали в хорошо информированных кругах болельщиков, знакомых с родственниками по отцовской линии вратаря Алеши Абрамяна, «безусловно, для выявления чемпионов придется провести дополнительную встречу между “Араратом” и “Динамо” – очевидно, в Ташкенте».

Сам Сергей Мергелян, основатель института математических машин, вице-президент Академии наук Армянской ССР, сказал на приеме, устроенном в честь делегаций братских городов – Киева, Тбилиси, Баку, Ростова-на-Дону, соревнующихся с Ереваном в хозяйственном и культурном строительстве:

– Мы готовы поделиться с вами по-братски всем, что имеем. Всем, кроме футбольных очков.

...Мы стояли в условленном месте, метров за четыреста до входа на «Раздан», ели кебаб, завернутый в лаваш, и, в ожидании всей братии, просчитывали варианты: «Если во Львове киевляне берут два очка, а наши сегодня одно – то... если “Карпаты” останавливают Киев, а мы – Минск, то...»

У Григора постоянный пропуск в ложу прессы, но он всегда покупает билет: отчасти для того, чтобы помочь дирекции «Раздана» выполнить финансовый план, отчасти потому, что его друзья школьных лет – инженеры Мисак, Акоп, Гриша, Роберт – пропусков не имеют. А смотреть футбол одному – значит к мукам переживания за свою команду присовокуплять муки невозможности поделиться с друзьями горестями и радостями. Перенести публичное одиночество на многотысячном стадионе может только гордая, надменная, заносчивая душа. Душа болельщика не такова – она жаждет сочувствия, сострадания, понимания. Дать все это полной мерой способна только душа друга. Вот почему Григор покупает билет, прибавляя каждый раз при этом: «У меня правда есть пропуск...»

Мисак читает вслух статью в «Правде», из которой мы узнаем, что Украинский спорткомитет поспешил освободить – сразу после финала Кубка – старшего тренера киевского «Динамо» Александра Севидова.

– Что скажешь, Мисак!

– Скажу, что и в Киеве болеют за «Арарат» – я это давно подозревал. Если бы не болели, не сняли бы тренера за три тура до конца чемпионата. За три тура! Это же нам только на руку...

– У тебя хорошее настроение, Мисак. (Все диалоги, как и призывы на транспарантах и плакатах, даются в переводах молодого армянского писателя Григора.)

Это наконец-то подошел Акоп, единственный серьезный человек в этом содружестве – женатый, сосредоточенный, в приспущенных на кончик носа очках. Сдержанного, хмуроватого Акопа точит червь сомнения – не в победе «Арарата», конечно, а в возможности когда-либо образумить своих друзей, заставить их жениться.

– Я говорю, у тебя хорошее настроение, Мисак! – голос Акопа становится еще более отеческим. – А ведь сегодня нас ждет очень тяжелая игра. Минчанам победа нужна как воздух, иначе они вылетят из высшей лиги.

– Спасибо, Акоп, за то, что ты есть. Открыл нам глаза...

– Ладно, ладно... Побереги юмор до женитьбы – тогда ты без него и дня не протянешь.

– Тебе виднее, Акоп, тебе вид нее...

Толпа несет нас к стадиону. Над нашими головами пузырится на ветру полотнище с аршинными буквами: «Арарат» – команда-звезда. «Ара рат» – команда звезд». И в скобках буквочками поменьше ссылка на автора – Николай Озеров.

«Раздан» гудит. «Раздан» ест мороженое, лузгает семечки. «Раздан» оглядывает себя. Время у него для этого есть: назначенная на шесть вечера игра, как выясняется на стадионе, начнется в семь. «Раздан» оглядывает себя и не скрывает, что ему нравится и силуэт Кубка СССР (так искусно выстригли траву в центре поля), и громадная золотая медаль, свисающая с верхнего яруса, – дело рук болельщиков фольгопрокатного цеха алюминиевого завода, – и дождь бумажных лент, и желтая медаль солнца, прикрепленная к синему небу, и самая вкусная в северном полушарии ереванская вода, бьющая из питьевых фонтанчиков, и мороженое, и жареные семечки, и громокипящая музыка, и песня про побеждающий «Арарат», и всё, всё, всё нравится сегодня «Раздану». По тому что сегодня впервые после победы в Кубке страны «Арарат» предстанет пред очи своих приверженцев. Потому что сегодня очень важная встреча, и «Раздану» предстоит поработать не меньше, чем «Арарату».

«Раздан» в этот вечер был активнее «Арарата»: команда, выложившаяся в финале Кубка и в игре с «Шахтером» в Донецке, играла исключительно на самолюбии. Минча не вели – 1:0 –

до семьдесят третьей минуты. Мисак, Акоп, Григор и еще 59 997 человек притихли, как на концерте в филармонии, когда поет Гоар Гаспарян. На семьдесят третьей минуте «Арагат» перестал играть на нервах «Раздана»: Николай Казарян забил ответный гол. Через семь минут все тот же Казарян быстрее ла ни, быстрее орла, настигающего зайца, промчался по левому краю и прострелил вдоль ворот. Там у дальней штанги, как и положено, караулил мяч Левон Иштоян.

«Раздан», воздев руки к черному небу, славил Иштояна. Снова Иштоян выручил, не подвел, спас, осчастливил – как и в Кубке, как еще раз и еще много-много раз.

В городском фольклоре этих дней не было героя популярнее Иштояна. Рассказывают, что мама Левона Иштояна спросила у соседей:

– Есть ли на свете человек, который бы играл в футбол лучше моего Левончика!

– Есть такой, – ответили соседи. – Зовут его Пеле и живет он в Бразилии.

– Надо же, такой хороший футболист и такой скромный! Никто о нем ничего и не слышал.

А из Бразилии, – рассказывают в Ереване, – пришли мрачные вести: король футбола Пеле страдает магией величия. Ходит и всем говорит: «Я – Иштоян, я – Иштоян...»

Слушать, как говорится, не слушай, а рассказывать про Иштояна не мешай. И сочиняют венки сонетов; и несут букеты в родильный дом, где за два дня до финальной кубковой игры в Москве жена Иштояна родила дочку, – столько букетов, что милиция вынуждена регулировать поток поздравляющих; и сосед Григора ночью, когда Кубок получил ереванскую прописку, поехал к родителям Иштояна и, несмотря на проклятия отца и мольбы матери Левона дать им спокойно заснуть, славил – на правах давнего знакомого – их сына, «нашу гордость».

Что было в ту кубковую ночь в Ереване!! Кружили машины по центральной площади Еревана, заглушая ревом клаксонов хрустальное журчание музыкального фонтана. Вино лилось, как вода в фонтане. Все были друзьями, все были счастливы, все пели, а кое-кто танцевал на улицах и площадях.

Желание исполнилось – пусть сбудется мечта! В воздухе запахло дурманящим розовым ароматам дубля. Слово это, такое необычно мягкое для цепкой, колючей армянской речи, было слаще пахлавы, нежнее персика и крепче «Двина». Слово это, совсем не протяжное, проносились нараспев, и была в этой напевности и ласковость, и глубоко спрятанная тревога: а вдруг – ду-у-убль – мимо, вдруг – ду-у-убль – не удастся!!

В эти дни второй половины октября 1973 года двумя самыми употребительными словами армянского языка были – «чэ» (что значит – «нет») и «дубль» (что значит – «дубль»). Вместе они, естественно, не соединялись, хотя кой-какие опасения (вдруг – ду-у-убль!) у отдельных малOVERов были.

На стенах домов, не охраняемых государством как памятники архитектуры, чьи-то руки начертали: «Симонян», «Иштоян», «Маркаров» и т. д. Под этими же именами-символами, с помощью зубного порошка нанесенными на футболки, ребята из Арабкира (район Еревана) вышли на принадлежащий им пустырь, менее изумрудный, чем поле «Раздана», но такой же червлено-золотой, как медаль из фольгопрокатного цеха. В Эчмиадзине, в пятидесяти метрах от храма, где шла воскресная служба, на зеленой лужайке гоняли мяч эчмиадзинские ребята. В отличие от арабкирских «модернистов», заменивших цифры на футболках именами-символами, эчмиадзинские держались старых правил и были пронумерованы. На следующий день, в понедельник, я снова попал в царство чисел – свой институт – и в приемной главного конструктора ЭВМ семейства «Наири» под стеклом изучал схему стадиона «Раздан» и табличку футбольного первенства страны (высшая лига). В тот же, а может, в другой день мне показали в ЦК комсомола Армении поздравительную телеграмму «Арагату» с Северного полюса, точнее, с одной из наших арктических станций; в газете «Физкультурник Армении» сказали, что в адрес команды после победы в Кубке пришло четырнадцать тысяч писем и пять тысяч из них – с Дальнего Востока, с Украины, из Сибири, Молдавии, Москвы, Ленинграда, Таджикистана.

24 октября ранним утром меня поднял с постели телефонный звонок.

– Знаешь, что сказал вчера Симонян Николаеву? – спросил меня один из новых знакомых.

– Какому Николаеву!

– Шутишь, да? Посмотри на календарь – какое у нас сегодня число!

Календарей в номерах гостиницы «Ани» не держат. Однако, прибавив к 20 (день матча с минским «Динамо») 4, я понял, что сегодня 24-е, а следовательно, «Арарат» играет в Москве с ЦСКА и, стало быть, имеется в виду Николаев, который тренирует ЦСКА.

– У тебя не голова, а «Наири», – похвалил меня новый знакомый, ибо не прошло и трех минут, как я про делал в уме все эти вычисления.

– Так что же он сказал?

– Разве это важно? Важно, что ответил Николаев!

– А что он ответил?

– Всякое болтают. Не знаю, чему и верить. У тебя нет информации из первых рук?

– Сейчас позвоню Николаеву, спрошу...

– Шутишь, дорогой, да? А мне, понимаешь, не спится. Не сердись, пожалуйста...

Вечером, за полчаса до начала телевизионной трансляции, еще один приятель Григора, студент-дипломник Шота, в свое время учившийся в одном классе с самим Шуриком Коваленко, стоппером «Арарата», принес наконец ответ Николаева почти из первых рук:

– Николаев ответил: игра покажет.

Игра на московском стадионе «Динамо» показала, что «Арарат» не боится снега и холода. Иштоян снова был в нужную секунду на нужном месте и забил нужный – самый нужный! – гол.

Теперь «Арарату» оставалась одна игра – с «Зенитом». «Арарат» к этому времени был впереди «Динамо», потеряв на очко меньше киевлян.

...Как мы шли на «Раздан» 28 октября, рассказывать не буду. Так же как и 20-го, только транспарантов, плакатов, медалей, портретов Иштояна несли еще больше, а в скандируемом повсюду «А-ра-рат!» еще сильнее ощущалось предвкушение счастья.

«Арарат» вкупе с «Зенитом» или «Зенит» в паре с «Араратом» посрамили тех пророков из нашей (а возможно, не только из нашей) компании, которые утверждали, что игры не будет, потому что одной команде надо всё, а другой, отдаленной как от медалей, так и от ухода из высшей лиги, – ничего. Игра была столь же темпераментная, сколь и корректная. Маркаров забил гол, именуемый в футбольных отчетах красавцем, но и Зинченко ответил красавцем голом. И Николаев, как выяснилось на «Раздане», парень не промах, а уж про форвардов «Арарата» и говорить не приходится. Была игра (3:2 в пользу «Арарата»), но, право, не она сделала обычный октябрьский день, даже более ветреный и прохладный, чем обычные, Днем дубля!

Все, что не успел я увидеть и услышать в Армении в эти одиннадцать дней постижения любви к математике и всепоглощающей страсти к футболу (а я не побывал на концерте ансамбля народной песни и танца Армении, не сумел поехать на свадьбу, не отметил ни одной защиты диссертации в «моем» институте) – все это и еще многое другое я увидел и услышал после игры: в этот вечер, совершенно естествен но перешедший в эту ночь.

...Футболисты «Зенита» первыми поздравили футболистов «Арарата» с дублем – пожали руки, обняли, что вызвало на трибунах шквал восторга.

– Благородные люди ленинградцы, – кричал мне в самое ухо какой-то седоватый мужчина не из нашей компании. – И Алов – самый благородный судья, мы его уважаем за объективность. (Замечу, что ленинградский арбитр Алов в Москве судил матч между «Араратом» и ЦСКА.)

Ему приходилось кричать мне про Алова, благородство, Ленинград, потому что все вокруг ликовало.

«Арагат» и «Зенит» выстроились у бровки, обратившись лицом к центральной трибуне. А потом «Зенит», еще раз поздравив соперников, побежал в раздевалку, а «Арагат» двинулся по дорожке с хрустальной вазой и с золотыми медалями – тогда еще не полученными, но уже приобретенными, и «Раздан» во всю мощь своих богатырских легких сопровождал каждый его шаг славы по кругу почета. Это был небывалый концерт для голоса, зурны, барабана, трубы, аккордеона и целого ряда неизвестных мне национальных инструментов. На поле десятки профессиональных танцоров отчубучивали нечто зажигательное, но, на мой вкус, им было далеко до Гриши, плившего по бетонному полу трибуны с самозабвенностью атакующего Андриясяна, лихостью Казаряна и грациозностью Маркарова. Едва Гриша отвел в сторону левую руку, тряхнул кистью, привстал на носки, откинул голову, как к нему примкнули другие мужчины, а потом он примкнул к другим, а потом к третьим – да так и потерялся в ту ночь, потому что зурны играли повсюду...

«Раздан» больше не оглядывал себя – некогда было; он пел, танцевал и внезапно – запылал: горели факелы из старых газет в воздетых к небу руках болельщиков.

С «Арагатом» на устах мы текли со стадиона – мимо подвалов всемирно известного коньячного треста, названного, очевидно, в честь любимой команды, «Арагатом»; мимо домов, с балконов которых нас приветствовали как триумфаторов; мимо кафе и ресторанов, попасть куда все равно было невозможно... Мы остались без Гриши, ушедшего на призывный звук зурны и не вернувшегося. Зато мы обрели Роберта, для чего потребовались титанические усилия Акопа, Григора и Мисака. Само присутствие Роберта на футболе подчеркивало исключительность этого футбола. Дело в том, что Роберта привели на стадион второй раз в жизни. Первый раз он героически держался до той минуты, когда судья назначил пенальти. Поняв, что игра остановилась, Роберт вскочил, спросил с надеждой: «Перерыв, да!» – и, не ожидая ответа, прыгая через ступеньку, помчался вверх к выходу и исчез. Сегодня он и не думал исчезать – сегодня здесь было на что посмотреть и помимо футбола, – но с тоской думал о трех квадратных метрах не облицованной кафельными плитками стены в ванной комнате (он занимался облицовкой в те вечера, когда друзья оставляли его в покое и уходили к себе на «Раздан», и должен был закончить работу сегодня вечером – если бы не футбол).

– Стыдись, Робик, – укоризненно покачал головой Мисак, читавший в сердце друга так же хорошо, как в собственном. – В такой день думать о кафеле!.. Скажи лучше, что ты нас всех приглашаешь к себе в гости по случаю окончания чемпио ната...

– Конечно, – обрадовался Робик, узнав, что чемпионат окончился... Один русский писатель, побывав в Армении, отметил, что здесь не умер, не затаился дух язычества, – он живет, он проявляет себя не только на виноградниках и пастбищах; память о мудрости, благородстве, доброте языческих народов «освободила армян от религиозной нетерпимости, от жестокости фанатизма». Другой русский писатель признался в своей книге, что Армения научила его любви к своей родине – России.

Армения продолжает учить любви. Любви к своему – не потому, что оно непременно лучше, выше, достойнее, благороднее чужого, а потому, что оно – твое единственное, родное. Армения продолжает учить любви беспримесной – без примеси нетерпимости, зависти, злорадства. Дух язычества живет «в скептической мудрости стариков, в бешеных вспышках ревнивцев, в безумстве влюбленных, в простодушных соленых суждениях старух, в прославлениях виноградной лозы и персикового дерева» – и в народном поклонении футболу, названному кем-то своеобразной отраслью нашего бытия.

В Армении забываешь о том, что это – отрасль, чувствуя, понимая, что это – бытие, его праздничная сторона, объединяющая сердца. Армения учит любить футбол – во-первых, потому, что это красиво, во-вторых, потому, что это красиво, в-третьих, потому, что в этот красивый футбол играют наши ребята.

У болельщиков «Арарата», шестой команды в советском футболе, сделавшей почетный дубль, были в эти октябрьские дни «именины сердца». Допускаю, что не всегда они такие добродушные, веселые, открытые, какими я застал их на «именинах». Разумеется, и среди ереванских болельщиков встречаются отдельные лица с некоторыми недостатками. Но в общем и целом здесь болели за (за красивый футбол, за родной «Арарат») и не болели против. Это заставляло тебя, человека пришлого, гостя, не чувствовать себя чужим на этом празднике жизни. Это вселяло надежды на лучшее будущее... «Зенита» и укрепляло уверенность в его возможностях.

В Ереване хорошо думалось о том, сколь многое может дать команде безоглядная, но и деловая, восторженная, трезвая любовь отдельных граждан и организаций к своей команде. Разумеется, кроме футбола, есть в Ленинграде (Ташкенте, Львове, Ростове-на-Дону, Минске и т. д.) и другие, несколько более важные, «отрасли» бытия, требующие к себе неослабного внимания. Но ведь они существуют и в Армении и, кстати, тоже не обойдены вниманием – как и «Арарат»... Очевидно, не обязательно танцевать на стадионе – можно просто петь хором. Но любить свою команду, любить красивый футбол – со всеми вытекающими отсюда последствиями – совершенно обязательно. И тогда Праздник дубля можно будет отметить не только на берегах Раздана, но и на берегах Невы.

...«Ара-рат!», «А-ра-рат!» Си-мо-нян! Си-мо-нян! И-што-ян! И-што-ян!

Уже первый час нового, послефутбольного дня, а гром победы все раздастся, а болельщики все размахивают плакатами «Ну, погоди, “Аякс”!», «Ну, погоди, Бразилия!», поют и танцуют. Третий час подряд танцуют мужчины на углу проспектов Саят-Новы и Абовяна. Их осторожно объезжают машины. Развозит своих гостей по домам Роберт. У всех слипаются глаза. Охрипли глотки. Болят ладони и бока. Радость, оказывается, выматывает, как тяжелая, непосильная работа.

– Знаете, на следующий год беру тайм-аут, – говорит Мисак. – Еще один такой сезон – и сердце не выдержит...

– Куда ты денешься! – иронизирует Акоп. – Пока межсезонье – женился бы, а то в тридцать лет холостой ходишь, как мальчишка.

– Я бы женился, Акоп, но разве теперь есть в футболе межсезонье – с этими кубками европейских чемпионов и межконтинентальным!

– Подумаем, Акоп, подумаем... – обещает Григор и спрашивает у меня: – Скажи, пожалуйста, делала ли какая-нибудь команда в нашем футболе два дубля подряд?..

1974

Перед своим незапятнанным голом

Слово «гол» (по-английски «goal») обозначает и мяч, за летевший в футбольные ворота, и сами эти ворота. И когда мы читаем у Набокова: «И каким ревом исходит стадион, когда герой остается лежать ничком на земле перед своим незапятнанным голом», – то понимаем, что речь идет о сохраненных в неприкосновенности/незапятнанности героем-голкипером своих ворот, сторожить которые он поставлен.

«Как иной рождается гусаром, так я родился голки пером», – писал Владимир Набоков в автобиографических «Других берегах».

«В России и вообще на континенте, особенно в Италии и в Испании, – продолжает Набоков, – доблестное искусство вратаря искони окружено ореолом особого романтизма. На знаменитого голкипера, идущего по улице, глазуют дети и девушки. Он соперничает с матадором и с гонщиком в загадочном обаянии... Он белая ворона, он железная маска, он последний защитник».

Сказать, что Лев Яшин, которому 22 октября 1999 года исполнилось бы семьдесят лет, был знаменитым вратарем, значит ничего не сказать. Знаменитых много – Планичка, Замора, Грошич, Жильмар, Бенкс, Мазуркевич, наши – Соколов, Жмельков, Акимов, Хомич, Набутов, Леонид Иванов, Маслаченко, Кавазашвили, а Яшин – один на весь белый свет. Общепризнанный лучший вратарь мира двадцатого столетия.

«Не могу пожаловаться на то, что спортивная слава обошла меня стороной, – это признание самого Яшина (цитирую по его “Запискам вратаря”, вышедшим в 1976-м в библиотеке “Огонька”). – И писали обо мне тоже немало. Но никогда не доставалось на мою долю эпитетов вроде «человек-птица» или «человек-тигр». И это справедливо. Я к категории феноменов не принадлежу. Никогда ноги не хотели подбрасывать меня в воздух сами, наоборот, всякий раз, отталкиваясь для очередного прыжка за мячом, я ощущал, как велика сила земного притяжения. Никогда мяч не лип к моим вратарским перчаткам сам, наоборот, нас с ним всегда связывали отношения, какие связывают дрессировщика с коварным и непокладистым зверьком. Так что если мое имя и осталось в футболе, то обязан я этим не матери-природе и не счастливым генам».

Феноменальность славы Яшина, первого вратаря мирового футбола XX века, одного из лучших, а по некоторым опросам лучшего спортсмена нашей страны уходящего столетия, в том, что всеобщего поклонения, почета, признания добился не баловень судьбы, а человек нашенский, свойский, мастеровой, труженик (осенью военного 1943-го четырнадцатилетним парнишкой пошел с отцом слесарить на завод), мальчишка, гонявший в московском небе голубей, словом, парень из нашего города, с нашего двора.

Страна приказывала быть героем, и героем становился любой – ты, я, он, она, Бобров, Стрельцов, Влахов, Яшин. Просто Яшин, часовым поставленный у во рту, лучше других представил, что у него за спиной по лосю пограничная идет, и отменно подготовился к бою. А футбол по востребованности обществом, по месту и роли в коллективном бессознательном часто предстает не игрой, а боем, войной. Не случайно один из литологов, большой знаток футбола, сравнил прошлогодний французский чемпионат планеты с виртуальной мировой войной, где «армии» бьются до последнего, осознавая себя представителями своей страны и своего народа – как говорят итальянцы, сегодня мы не будем европейцами, сегодня мы будем итальянцами.

Страна, которой Яшин служил верой и правдой, всю дорогу либо воевала, либо готовилась к войне. «Эй, враг, готовься к бою!» – неслось из репродуктора, с экранов кинотеатров (как же популярен был довоенный фильм «Вратарь» по книжке Льва Кассиля с ослепительно красивым и сверхнадежным Антоном Кандидовым, вчерашним волжским грузчиком, ловя-

щим мячи, как арбузы). Так надо ли удивляться, что страна с оборонным сознанием выдвинула в первый ряд своих героев врата ря – стража, хранителя, часового? Надо ли удивляться, что страна энтузиастов-коллективистов «приказала» стать общенациональным героем-атлетом не бегуну-марафонцу или боксеру с их обостренным ощущением одиночества как материи существования, а представителю самой что ни есть коллективистской игры?

Тут, правда, были свои нюансы. Одинокость и независимость (о, как прав рожденный голкипером писатель!) фигуры вратаря вообще-то должны быть на подозрении у коллективистского сознания, и для чистоты жанра лучше бы определить в герои кого-нибудь из полевых игроков, кто в дружбу верит горячо и рядом чувствует плечо соседа, товарища, поделщика. Но Яшин был необычным вратарем.

Выделенный своим местоположением, игровой ролью стража-хранителя-часового, он не прижимался к сетке своих ворот, а играл по всей штрафной площадке, а то и за ее пределами, с хулиганской – тушинской – артистичностью, сняв неизменный кепарь, отбивал высокий мяч головой (правила не позволяли играть за пределами штрафной руками), разрушал вражеские набеги на дальних подступах к своему оборонительному рубежу, глуховатым, но сильным баском не прерывно командовал беспрекословно подчинявшимися ему защитниками, да и не только защитниками (первый – в любой игре – всегда тот, кто лучше всех ее понимает). Этот удивительный вратарь при всей своей отдельности и отделенности от броуновского движения футбольных атомов был главным проводником артельного, коллективистского начала, руководителем и направителем игры.

Не случайно, нет, не случайно наше игровое пространство выделило в общенациональные первачи фигуру вратаря. Талантливых вратарей, как и шахматистов, всегда было у нас пруд пруди. (Кстати, нежнейшая дружба связывала последние десять лет жизни Льва Яшина и Михаила Таля, говоривших друг о друге, что не встречали в жизни человека добрее и благороднее, а еще один шахматный чемпион, Борис Спасский, признался однажды автору этих строк, что смотреть с Яшиным футбол было совсем неинтересно: он все ходы на поле предугадывал и предсказывал.) Про шахматы – отдельная песня, а вот вратарство у нас в крови, и связано это, пожалуй, прежде всего с особенностями национального характера. Какой же русский, россиянин тоже, рожден для спокойной, размеренной, нормальной жизни – в нем закипает ярость благородная только в экстремальных, боевых условиях, когда надо спасать и спасаться, он велик и грозен в чрезвычайных обстоятельствах и ситуациях, а у вратаря, по определению, вся жизнь – чрезвычайные обстоятельства: он поставлен выручать и спасать.

Слава Яшина – выстраданная слава. Битый-перебитый-униженный-освистанный, он не спрашивал судьбу с недоумением «За что?», а только, натянув поглубже на глаза кепку, еще сильнее упирался рогом в землю, еще беспощаднее истязал себя на тренировках и никогда не щадил себя в бою. Достаточно вспомнить, как Лев на чемпионате мира в Швеции в 1958-м в матче с Австрией потерял сознание после сильного удара бутсой в голову, но, едва придя в себя, остался на поле. А четыре года спустя, на следующем чемпионате мира в Чили, после того как закрытый игроками пропустил в четверть финале мяч с дальней дистанции, его, спасателя и спасителя, с подачи малопрофессионального и необъективного отечественного журналиста (по телевидению мы тогда «войну миров» не лицезрели) обвинили в нашем поражении, и надо было слышать, каким свистом и улюлюканием обложили трибуны вратаря московского «Динамо», стоило ему, чемпиону Олимпийских игр-56, обладателю Кубка Европы-60, вчерашнему кумиру толпы, появиться на публике в первом московском послечилийском матче. И в первом, и во втором, и в третьем. Сколько он поношений тогда принял, какие муки испытал! Грязные письма, матерные граффити на стеклах машины, разбитые окна квартиры. Оскорбительная, нестерпимая несправедливость – как сберечь от ее подлых ударов сердце и мозг?..

Всего через год – вот она, выстраданность славы – распина емого Яшина признают лучшим футболистом Европы и пригласят участвовать в матче века между сборными мира и Англии. Лишь четверть столетия спустя, когда его могучий организм пошел вразнос и хирурги, спасая жизнь, вынуждены были с небольшим интервалом во времени отрезать ему обе ноги, стало понятно, чего это ему стоило...

Да и начинал Яшин не многообещающе, а как-то не складно, нелепо. В первом же своем матче за московское «Динамо» в марте 1949-го – играл он тогда в дубле – с ним произошел случай конфузный: на обжитом многими поколениями московских динамовцев гагринском поле вратарь сталинградского «Трактора» в середине первого тайма забил своему коллеге мяч, выбив его из своей штрафной площадки. В раздевалке Яшин швырнул в угол перчатки, бутсы и, не в силах сдержать слезы, стал стаскивать свитер. Но тренеры – Станкевич и Якушин – снова поставили его на следующий матч, и еще на один, так что он закрепился в дубле.

А вот в основном составе долго закрепиться не мог. И не потому, что у «Динамо» было два превосходных голкипера – легендарный «тигр» Алексей Хомич, пер вый учитель Яшина, и безрассудно смелый и чертовски элегантный Вальтер Саная. Просто в один совсем не прекрасный для него осенний день 1950 года, выполняя впер вые роль запасного вратаря основного состава (Саная за болел) и выйдя за пятнадцать минут до конца вместо получившего травму Хомича в матче со столичным «Спартаком», Яшин, перехватывая мяч, посланный по высокой дуге, столкнулся со своим полу защитником Блинковым, сбил его с ног, а спартаковский форвард Паршин без помех послал мяч в пустые ворота.

И снова Яшина, по его словам, упрятали в дубль все рьез и надолго. Целых три сезона о нем не было слышно, а всего он просидел в запасе без малого пять лет. Не скис, не расклеился, не извел окружающих жалобами на свою несчастную долю. Проклятия, впрочем сдержанные, что бы не повредить тонкую ткань игроцкой, артистической души, посылал только себе. И так себя выдрессировал, так «игру разумом проинтуичил», что длиннорукий, не очень с виду ладный, долговязый стал с каждым годом – с 53-го, как закрепился в основном составе «Динамо», с 54-го, как занял место в воротах сборной СССР, и до пос леднего своего игрового сезона в 70-м – казаться и выг лядеть все красивее и сильнее, все свободнее; специалис ты отмечали чуть ли не как самое ценное его качество расслабленность в плечах, в поясе, в кистях рук, в коленях, ту расслабленность, которая одаряет вратаря ощуще нием свободы, легкости, власти над мячом.

В несвободном обществе люди игры, в частности спортивной игры, были свободнее других своих согражд ан. Игра ведь старше культуры, при всех своих связях со временем она относительно автономна, самостоятель на – и русский/советский вратарь Яшин чувствовал себя абсолютно свободным и получал блаженство от игры луч ших мастеров планеты, защищая в 1963 году ворота сборной мира в Лондоне против сборной Англии, так же как немец из ФРГ Шнеллингер, как сбежавший в Испанию от советских танков в 1956-м венгр Пушкаш, как эмигриро вавший из Аргентины в ту же Испанию Ди Стефано, как родоначальники футбола одной из самых старых евро пейских демократий.

«Блаженство» – слово редкое в яшинском и его по колении словаре. Но всякий раз, вспоминая игру сбор ной мира, он говорил: «Никогда я не испытывал, уча ствуя в игре, подобного чувства полной удовлетворенности и блаженства». Другое слово – «долг» – входило в их душевный состав, долг был для них превыше всего на свете. Дело, которым они занимались, было выше и боль ше каждого из них, это дело объединяло народ и народы гордостью за свою команду, свою страну и – бери выше! – за свою принадлежность к роду человеческому, избравшему фут бол своей главной утехой, главной игрой (все еще, бу дем надеяться, игрой, а не войной).

Футбол опасен, когда он становится дубиной народ ного гнева в отношениях одной нации с другой. Футбол прекрасен, когда он дает понять, что есть только одна раса – человечество.

Я всего раз в жизни был на футболе, где никто не болел «против», а все болели «за» – на прощальном матче Льва Яшина в московских Лужниках 27 мая 1971 года. Тогда, передав свою повязку капитана сборной мира англичанину Бобби Чарльтону, Яшин встал в ворота московского «Динамо», усиленного тбилисцами и киевлянами, и «сухим» отстоял первый тайм, вытащив полумертвый мяч от Чарльтона в правом нижнем углу (для справки – вра тарю шел сорок второй год!) и еще семь минут второго, а потом сдал свой пост Володе Пильгую и убежал, опустив голову, в тоннель стадиона, – сто три тысячи моих соотечественников, лиц разных национальностей, вскочили со своих мест в порыве всех объединивших любви и благодарности этому человеку, подарившему им столько радости и счастья, и били в ладоши, и топали ногами, как оглашенные, счастливые в своем священном безумии.

Лев Иванович Яшин ушел тогда из футбола, а через девятнадцать лет, 20 марта 1990 года, – из жизни, но остался навечно в национальном пантеоне признанных миром русских гениев. Яшин – спаситель, искупивший своими страданиями и подвигами на горько пахнущем травой поле стадиона нашу страсть к таинству игры. Яшин – образец благородства как величия души и нравственной незапятнанности. Ему случалось пропускать не очень мертвые мячи и даже «бабочки», но гол за спиной Яшина так и остался незапятнанным.

1999

Боброву равных не было и нет

Газета «К спорту!», выходящая в Москве еще до революции и возобновленная в перестройку известным журналистом Анатолием Юсиным, регулярно проводила социологические опросы своих авторов, практиков и теоретиков спорта и просто болельщиков. В конце 2000 года газета попросила читателей определить лучшего спортсмена нашего отечества в двадцатом столетии. Спортсменом номер один XX века был признан Всеволод Бобров, единственный в олимпийской истории капитан сборной страны и по футболу (Хельсинки-1952), и по хоккею (Кортена д'Ампеццо-1956).

«В его ударах с ходу, с лёта / от русской песни было что-то. / Защита, мокрая от пота, / вцепилась в майку и трусы, / но уходил он от любого, / Шаляпин русского футбола, / Гагарин шайбы на Руси!»

Если бы я был поэтом, я написал бы «Прорыв Боброва», но его в 1969-м уже написал Евгений Евтушенко.

Если бы я видел Боброва на зеленом и белом полях так же часто, как Александр Нилин, если бы хоронил Всеволода Михайловича летом семьдесят девятого в Москве, то имел бы право написать о человеке в кепке, но Саша уже запечатлел это и опубликовал в книге «Видео-запись».

«Он был приметной фигурой разных времен, хотя, пожалуй, до последнего своего часа оставался человеком времени, его наиболее прославившего. В последние годы на стадионах его иногда называли “человеком в кепке”». В сороковые многие носили кепки из букле с серебряной искрой. Как Бобров.

На красной драпировке крышки гроба несли фуражку с голубым околышем. Хоронили полковника Военно-воздушных сил, кавалера ордена Ленина, выпускника Военно-воздушной академии Всеволода Михайловича Боброва.

Больше полутора часов шли люди мимо его гроба. Проститься с ним пришло около одиннадцати тысяч...

Да, он был вхож ко многим влиятельным людям. Он входил к ним запросто, не затрудняя себя дипломатией. Что-то было в этой повадке от бомбардира. Но в прорыв он шел не иначе, как выполняя чью-то просьбу. Никаких проблем не существовало, если помочь товарищу зависело только от него.

Отсутствие широты в людях его коробило. И уж никому никогда не прощал трусости в игре. Замеченный в трусости игрок переставал для него существовать. Про ведущего игрока команды, которую он тренировал, Бобров говорил: «Да пусть он тридцать мячей за тайм забьет – для меня он не игрок. Бойтся встык идти...»

Корифеи футбола и хоккея сходились на том, что равных Боброву в спортивной игре не было и нет. Таких, как Бобров и Шаляпин, даже богатая на таланты русская земля рождает не часто. Да, в удалом, лукавом таланте вихрастого Севки было что-то от русской песни. А больше всего во Всеволоде, родившемся 1 декабря 1922 года в тамбовском Моршанске и выросшем на ленинградской земле, в Сестрорецке, куда Бобровы переехали в те же двадцатые годы, было, по-моему, от Левши, сумевшего английскую блоху подковать и не позволившего английским мастерам над русскими возвыситься. Лесковский Левша был из Тулы, но и Сестрорецк писатель в своем сказе упоминает как место, где наши мастера могли бы тонкую английскую работу подвергнуть «русским пересмотрам». Судьба, однако, распорядилась так, что «пересмотр» работы островитян произвели тульские, а не сестрорецкие мастера. Правда, блоха, подкованная искусными в рукомеле, но точным наукам не обученными тульскими мастерами, перестала прыгать и танцевать.

Впрочем, это уже детали, говаривал в таких случаях гроссмейстер Михаил Таль, с которым лет тридцать назад в подмосковном Новогорске у входа в старый корпус учебно-тренировочного центра сборных команд СССР мы зачарованно слушали рассказ Константина Ивановича Бескова о поездке в Англию в ноябре сорок пятого года московского «Динамо», за которое мы с той поры и болели.

Репортажно-очерковая книга «19:9» о триумфе советского футбола в Англии, названная по итоговому счету четырех матчей чемпионов страны 1945 года столичных динамовцев, усиленных Всеволодом Бобровым из ЦДКА, с ведущими клубами туманного Альбиона, зачитывалась до дыр. Когда я в первые послевоенные годы, приезжая летом из Петрозаводска в Москву, к отцовской родине (отец погиб на войне), ходил на стадион «Динамо» с дядей Сашей, инвалидом войны, женатом на сестре моего отца, болевшим за ЦДКА, то отчаянно переживал нелепейшую для моего детского сознания ситуацию, когда ЦДКА Боброва и Федотова играло с «Динамо» Хомича, Бескова и...

Боброва! Умом-то я понимал, что Бобер не наш, не динамовский, но сердцу не прикажешь, хрипая скороговорка Вадима Синявского из радиорепортажей о тех феерических матчах и книжка «19:9» навсегда впечатали имя Боброва в мое сердце, и я рыдал, когда Бобер обводил распластавшегося в луже во вратарской площадке Тигра – Алексея Хомича – и влетал в сетку динамовских ворот с мячом!..

В августе семьдесят второго превосходный хоккейный журналист Евгений Рубин познакомил меня в ленинградском дворце спорта «Юбилейный» на международном турнире на приз «Советского спорта» с Всеволодом Михайловичем Бобровым, старшим тренером сборной СССР по хоккею, готовившейся к первой в истории серии из восьми матчей с канадскими профессионалами. Я взял тогда у него интервью о предстоящих играх, а потом, когда мы «приняли на грудь» за наши победы, прошлые и будущие, под любимым Бобровым фасолевый суп, я рассказал ему о своих детских страданиях на забитом под завязку стадионе в Петровском парке. Всеволод Михайлович рассмеялся: «Я после той поездки тоже за Костю Бескова болел... Мы ведь с ним в сорок пятом вдвоем половину всех динамовских мячей англичанам наколотили. То я с его подачи, то он с моей...»

Великого Боброва, Левшу из Сестрорецка (левшу потому, что его «рабочей» ногой была левая), подковавшего английскую блоху, которая и прыгала, и танцевала, нельзя было не любить. Его игра околдовывала всех, кому выпало счастье видеть Боброва, каждый ход которого был неожиданен, непредсказуем.

Для меня Бобров был человеком шаляпинской одаренности и симоновской нравственной высоты и чистоты. Увидев в Париже в середине тридцатых фильм о Петре Первом, сыгранном молодым Николаем Симоновым, Шаляпин был потрясен: «Вот у кого я хотел бы учиться!»

Когда весной 1973-го Николай Константинович умер, я записал в дневнике: «Выше и чище человека для меня не было». Когда через шесть лет узнал о преждевременной кончине Всеволода Михайловича, горевал как о потере родного, близкого человека. Помянул с друзьями и Симонова, на улице имени которого живу уже тридцать лет, и Боброва, к чьему памятнику в городском парке прихожу, когда бываю в Сестрорецке. Хорошо знаю, что оба артиста милостью Божией (а кто усомнится, что Бобер был великим артистом спортивного театра!) были людьми небезгрешными: когда скромнейший в жизни Симонов в начале семидесятых входил в магазин на углу Чайковского и Фурманова, рядом со своим домом, и занимал очередь в винном отделе, подняв воротник пальто или плаща, чтобы его не узнали, продавщица, высмотрев высокого гостя, зычно командовала: «Мужики, как вам не стыдно, не заставляйте царя Петра в очереди стоять!.. Прошу, Николай Константинович», и ставила на прилавок «Столичную»... А уж о загулах Боброва с сыном Сталина, генералом-летчиком Василием, чего только не пришлось наслушаться в свое время, а потом начитаться.

Сравнительно недавно мне попала в руки книга «Российская империя чувств», вышедшая в Москве, в «Новом литературном обозрении», с привлечшей мое внимание статьей живущего в калифорнийском городе Сан-Диего историка Роберта Эдельмана «Романтики-неудачники: “Спартак” в золотой век советского футбола (1945–1952)». Не собираюсь давать оценку всему труду, но пассаж о Боброве меня покорило. «Величайший футболист той эпохи, армеец Всеволод Бобров был хорошо известен как плейбой, обожавший ночные развлечения. В отличие от Симоняна или Сальникова Бобров был крупным, сильным мужчиной вроде русского крестьянина, мужика. Стиль его игры напоминал танковую атаку. По большей части он попросту завладевал мячом и без претензий на элегантность сметал всех со своего пути».

Трудно более неточно, неверно определить его стиль. Танком, сметающим всех на своем пути, этот могучий, но легкий, неуловимый для защитников, словно летящий над травой форвард никогда не был. Как сказано у Пушкина: «Стремглав лечу, лечу, лечу, / Куда, не помню и не знаю...»

Какие там «претензии на элегантность» у того, кто был эталоном элегантности и выразительности спортивной игры! Те, кто играл с ним, кому посчастливилось видеть Боброва в деле, отмечают его размашистый бег, красивый прыжок, удивительную статность и ладность его фигуры в самых невероятных ситуациях борьбы за мяч или шайбу.

Накануне 90-летнего юбилея Шаляпина русского футбола, Гагарина шайбы на Руси (оно отмечалось 1 декабря 2012 года) в российских СМИ прозвучали голоса и почитателей Боброва, чья память сохранила умопомрачительные виражи на льду и колдовскую обводку супермастера на траве и, главное, его партнеров по игре, таких как упомянутый в статье калифорнийского историка Никита Павлович Симонян, игравший с Бобровым за футбольный «Спартак» в 1953-м.

– Я мог сыграть с Бобровым в команде ВВС еще в 52-м. «Представляете, какой грозный сдвоенный центр выйдет у вас с Бобровым», – убеждал меня адъютант генерал-лейтенанта Василия Сталина. Но я сказал Василию Иосифовичу, что хочу играть за «Спартак». Когда расформировали ВВС и Михалыч пришел в «Спартак», я на поле в основном ему снаряды подносил. Играть с ним было не просто. Михалыч требовал мяч: отдай, отдай, отдай!.. В игровых видах спорта Бобров – спортсмен номер один, над всеми возвышается. В хоккее с мячом и шайбой – гениальный, а в футболе – великий. Что он выделял на поле, на льду!.. Как перекидывал клюшку с одной руки на другую в русском хоккее, как вместе с шайбой объезжал вратаря и, выскакивая из-за ворот, забивал в незащищенный угол!

А можно ли верить мемуаристам, спросил Симоняна корреспондент одного еженедельника, что Бобров мог «послать далеко» самого Василия Сталина?..

– Не верьте. Василия Иосифовича не мог. Но любому другому, хоть тренеру, хоть маршалу, мог высказать свою точку зрения. Михалыч знал себе цену. И Василий Сталин его очень любил за талант и душевные качества. А сколько легенд ходило о Боброве!.. Он был в народе невероятно популярен.

Гениальный футбольный тренер Борис Андреевич Аркадьев признавался, что «был влюблен в Боброва, как институтка. Это совершенная человеческая конструкция, идеал двигательных навыков, чудо мышечной координации. Он не думал, не знал, почему надо действовать так, а не иначе. Действовал по наитию. Ему не было равных в игре». Эту восторженную характеристику можно дополнить воспоминаниями друга Боброва, мэтра журналистики Юрия Ваньята, в начале войны командированного в Омск начальником учебно-спортивного отдела областного спорткомитета с одновременным исполнением обязанностей корреспондента газеты «Красный спорт» по Западной Сибири. На берегу Иртыша в тихом деревянном Омске, в ненастный октябрьский вечер, как много лет спустя рассказывал Юрий Ильич, на поле местного сельхозинститута, под проливным дождем он, судивший матч команды эвакуированного из Ленинграда завода «Прогресс» с «Динамо», увидел впервые худого, длин-

нующего курносого девятнадцатилетнего парня с короткой стрижкой и задорным чубом, обращавшегося с мячом непринужденно, с изяществом, наводившего панику в стане динамовцев. Столь же виртуозно сын рабочего «Прогресса» Михаила Боброва вместе со своим корешем Борисом Забегалиным играл в русский хоккей. Можно часами вспоминать, говорил Ваньят, удивительную одаренность Боброва-спортсмена. За что бы он ни брался, будь то баскетбол, волейбол или настольный теннис, поражали его пластичность, изящество движений, словно он всю жизнь только и делал, что забрасывал мяч в кольцо.

И все-таки рискну поспорить со знатоками. У нас, полагаю, были форварды не слабее Боброва – Григорий Федотов, Эдуард Стрельцов, а в мировом футболе чудотворцы еще более ослепительного дара, скажем, Пеле и Пушкаш. В хоккее же с шайбой равных Боброву не было и нет. Ни в нашей стране, ни за океаном, на родине этой игры.

История нашего хоккея неразрывно связана с именем самого блестящего отечественного игрока Всеволода Боброва.

22 декабря 1946-го он участвует в первом матче первого чемпионата страны по хоккею с шайбой между армейцами Москвы и Свердловска.

В феврале 1948-го в составе впервые созданной сборной СССР выступает в матче с чехословацкой командой «ЛТЦ-Прага».

В феврале 1954-го на первом для нас чемпионате мира советская сборная становится чемпионом, а ее капитану Боброву вручают часы и приз лучшему игроку.

В феврале 1956-го национальная команда Советского Союза, ведомая Бобровым, завоевывает золотую олимпийскую медаль в Кортина д'Ампеццо на VII Белой олимпиаде, дебютной для наших мастеров зимнего спорта. Прославленный канадский хоккеист Морис Ришар, восхищенный виртуозной игрой русского нападающего на итальянском льду, заявил, что капитан советской команды смело может быть включен в десятку сильнейших за всю историю мирового хоккея – любительского и профессионального.

Тренируемая Бобровым сборная страны дважды побеждала на чемпионатах мира.

В сентябре семьдесят второго впервые скрестили клюшки профессионалы североамериканского хоккея и наши мастера под водительством старшего тренера Всеволода Михайловича Боброва, кумира послевоенного поколения мальчишек, самого популярного спортсмена победившей в страшной войне страны.

Не забуду, как в первой половине сентября 1972 года мне пришлось выступать в 189-й школе Ленинграда, где училась моя одиннадцатилетняя дочь Таня. Школа размещалась рядом с кинотеатром «Спартак», в двухстах метрах от нашего дома на улице Чайковского и редакции журнала «Аврора» на Литейном, где я заведовал отделом публицистики. Классная руководительница Таниного пятого «а» попросила меня рассказать что-нибудь интересное о знаменитых людях, с которыми мне пришлось встречаться. Я понятия не имел, что интересно пятиклассникам, и решил говорить о том, что интересно мне самому. Как и большинство жителей нашей страны, я смотрел тогда телевизионные трансляции, слушал радиорепортажи из Монреала, Торонто, Виннипега, Ванкувера и обсуждал с друзьями и авторами журнала, заглядывавшими ко мне домой или в редакцию, перипетии захватывающих поединков, в которых Третьяк, Харламов, Петров, Михайлов, Якушев, Зимин, Мальцев, Лутченко, Рагулин, ведомые тренером Бобровым, отчаянно рубились с Филом Эспозито, Курнуайе, Кларком, Хендерсеном и другими «профи».

Стоило мне упомянуть имя Боброва, как рыжий парнишка с первой парты, придвинувшись к учительскому столу, за которым я восседал, недоверчиво спросил: «А вы сами-то Боброва видели?»

– Как тебя. И видел, и слышал...

Рыжик, повернувшись к классу, скомандовал: «Тихо всем! Человек видел и слышал самого Боброва. Рассказывайте, пожалуйста...»

И я стал рассказывать, какие чудеса творил Бобров в футболе и на хоккейных площадках, какой у него был большой тренерский талант и непререкаемый авторитет среди самых выдающихся игроков, как любили своего тренера ребята из молодого дерзкого «Спартака», победившего при Боброве тарасовский ЦСКА... Рассказывая, упомянул, как зимой семьдесят второго (об этом узнал из рассказа Бориса Майорова) команда ветеранов Москвы ездила по городам Сибири, они забросили всей командой двадцать шайб и половину из них Бобров, а ведь он был старше на десять-пятнадцать лет большинства из недавно оставивших лед.

– Как же ты не забил? – спрашивал, случалось, Бобров на тренировке сборной СССР у известного нападающего.

– Под таким острым углом забить невозможно... – отвечал форвард.

– Невозможно? – Всеволод Михайлович брал в руки клюшку, разогнался, и через несколько мгновений шайба трепетала в сетке ворот...

Для Боброва в игре не было ничего невозможного. Таким мы его помним и любим. Благородного и великодушного. Строптивного и независимого. Единственного и неповторимого. Человека на все времена.

2012, 2013

Рациональный романтик

Бесков, победитель англичан

Были мастера, игравшие лучше Бескова: Бобров, Федотов, Стрельцов, Пеле. Сам Бесков признавал безусловное превосходство и над собой, и над другими бомбардирами мира двух гениев – Григория Федотова и Пеле. Сфотографировался с «королем футбола» на приеме в посольстве Бразилии в Москве и но сил этот снимок в портмоне рядом с фотографиями самых близких – спутницы всей жизни Валерии Николаевны, дочери Любы, внука Гриши Федотова. Они породнились с великим цен трфорвардом ЦДКА через детей: сын армейс кого бомбардира Владимир, нынешний главный тренер московского «Спартака», женился на дочери конструктора динамовских атак.

Очень высоко ставил Бесков Эдуарда Стрельцова, их тандем с Валентином Ивановым (обоих торпедовцев он успел поучить футбольному искусству в начале тренерской карьеры) сравнивал со сдвоенным центром «команды лейтенантов» Федотов – Бобров, которому противостоял в первые послевоенные годы вместе с Карцевым, Трофимовым и другими сто личными динамовцами.

Мое поколение, поколение детей войны, заболело футболом в год победы над фашизмом; в ноябре сорок пятого московское «Динамо», где Бесков играл в связке с приглашенным из ЦДКА для усиления Бобровым, совершило победоносное турне на родину футбола. 19:9 – итоговый счет четырех матчей с клубами Вели кобритании до сих пор звучит в душе, как и хриповатая скороговорка Вадима Синявского, комментировавшего по радио нашу ничью с «Челси», победу над «Арсеналом»...

В вышедшей в Англии к 50-летию визита русских футболистов книге отмечается, что Бобров, Бесков, Карцев, Семича стный, Хомич ничуть не уступали в технике владения мячом и атлетизме британским асам, а в тактике, комбинационном даре, коллективнос ти игры превосходили отважных, сильных, но прямолинейных англичан.

Красота и результат

На кончину Бескова 6 мая 2011 года отозвались не только спортивные издания, но и политические, худо жественные, научные. Больше всего писали о легендарном тренере, во многом определившем современные тенденции мирового футбола, о его замечательном чутье на таланты, о Бескове – создателе команд и постановщике футбольных спектаклей, которому был важен не столько результат, сколько красота, зрелищность игры.

Многое справедливо в этих оценках, но ни в коем разе нельзя противопоставлять результат игры и ее красоту. Все большие тренеры оставались на скрижалях спортивной истории потому, что руководимые ими команды добивались выдающихся результатов. Разумеется, очень важно, какой игрой – вдохновенной, пластично-грациозной или приземленной, жестко-силовой – добыты медали и кубки, но когда их нет, то и разговаривать не о чем. Все успешные тренеры не могут не быть рационалистами, даже рожденные с душой поэта и романтика, как Бесков.

Константина Ивановича я назвал бы рациональным романтиком. Жалею, что не додумался до этого определения при его жизни; интересно, согласился бы с ним мэтр, патриарх, как наперебой стали именовать Бескова после его семидесяти пяти, когда он ушел из большого футбола как действующий тренер, вытаскивая родное «Динамо» из очередной трясины...

Славословия в адрес Бескова, юбилейные прижизненные и посмертные, с их неизбежными преувеличениями, на мой взгляд, отодвинули на второй план, не позволили рассмотреть две принципиальные вещи.

Без одной не понять природы его тренерского дара. Без другой – не разобраться в судьбе тренера Бескова, более того – в судьбе творца в любезном сердце отечестве.

Понимание игры

Почему я так подчеркиваю исключительное искусство и мастерство Бескова-игрока, не одаренного от природы безоглядно щедро, как Федотов и Бобров, но ставшего ровень с ними?.. Да потому, что пример Бескова говорит о том, каких высот может достигнуть человек, если зажегшюся в сердце с малых детских лет искру страсти сумеет разжечь в костер, если научится управлять своими страстями, а не станет их рабом, как многие на Руси таланты мочаловско-стрельцовой одаренности, если будет не просто трудиться, «пахать», вкалывать, а научится каждое движение выполнять сознательно, «подключая голову», если превзойдет конкурентов и партнеров в главном, что делает игру в футбол музыкой сфер, а не тяжелой, опасной для здоровья и жизни работой.

На том, что ум, интеллект, понимание – главное в игре на высшем уровне, сходились все ликие маэстро спортивного театра от Пеле и Майкла Джордана до Владимира Кондрашина и Вячеслава Платонова.

Да, мяч, посланный Бесковым, имел глаза, как сказал о Стрельцове один театральный критик. Бесков видел поле, замечал и не медленно реагировал на любой осмысленный маневр товарища по команде, дирижировал атакой бело-голубых, как Евгений Мравинский, названный «патрицем за пультом», – музыкантами оркестра Ленинградской филармонии. В сыне московского рабочего Ивана Григорьевича Бескова и его жены Анны Михайловны, строгой, суровой, но справедливой (фамильные бесковские черты) была аристократичность выпускника Кембриджа или Оксфорда, недаром его называли «первым джентльменом советского футбола». Всю жизнь он укрощал строптивых и начинал с себя: ставшая притчей во языцех беспощадность тренера Бескова к выпивохам, нарушителям режима и игровой дисциплины, лентяям, уваливающим от спортивной аскезы – выматывающего тренировочного труда, – шла, как у питерца Кондрашина, из детства, юности, от воспитания в рабочей семье, где кусок хлеба надо заработать, а успех – заслужить.

Бесков не только дирижировал партнерами, он и сам бил прикладисто, резко и сильно. И все-таки, хоть играл он замечательно (дирижер и «ударник» в одном лице), были, повторю, игроки ярче и само бытнее. Но стратега футбольной игры умнее, мудрее Константина Ивановича в отечественном футболе не было. Да простят горячность и категоричность литератора, увлеченного героем своего футбольного романа, поклонники других великих тренеров – Аркадьева, Якушина, Маслова, Качалина, Лобановского...

Бесков превосходил своих коллег по футбольному тренерскому цеху в наиболее интегральном параметре интеллекта – понимании. Понимании игры, человеческой природы, жизни. Ему, трезвому

всевидцу, было внятно даже то, что рефлексии, осмысливанию не поддается: тайна жизни. «И прелести твоей секрет разгадке жизни равносильна». Поэт ведет речь о красоте женщины, но разве в игре, в спорте, где природное, биологическое и духовное на чала находятся в гармонии-борьбе, не ищем мы разгадку жизни!..

Режиссер футбольного театра

Бесков, романтик по натуре, рационалист по уму, не просто создавал и тренировал команды и ставил им игру, как его друг Юрий Любимов спектакли на сцене легендарной Таганки, а искал смысл в хаотичных, на непросвещенный взгляд, перемещениях мяча и игроков по полю; его игровые метафоры, изобретательные, острые, как у Любимова, по пульсации живой жизни, погружению в ее глубины ближе театру Анатолия Эфроса. Было бы непростительным упрощением утверждать, что романтику Бескову жала в плечах динамовская шинель, а вот в «Спартаке», играющем в футбол с импровизационной, джазовой легкостью, он вдохнул воздух полной грудью и сделал спартаковскую яркую, вольную, но анархичную игру стабильной, организованной, осмысленной...

Все, конечно, сложнее. И московское «Динамо» при Якушине-тренере, при Бескове и других исполнителях его уровня импровизировало не хуже «Спартака» и ЦДКА. Однако нельзя не признать: как романтик он оказался востребован именно в «Спартаке». В «Динамо», возможно из-за его принадлежности к силовым структурам, импровизационность, производная свободы, всегда оказывалась под подозрением, как джаз, «музыка толстых», у советской власти.

Но и «Спартак», который по иронии судьбы динамовец Бесков, вытаскив в высший дивизион, преобразовал в подлинно современную, элегантную, умную и волевою команду, не стал бесковской «Dream Team».

Таланты с подрезанными крыльями

И тут пора сказать о второй вещи, без которой не осмыслить судьбу тренера Бескова, да и судьбу тренера в России. О прискорбной отечественной традиции подрезать крылья, сносить головы талантам,

людям независимым, по смевшим иметь суждение, отличное от общепринятого, продекларированного властью и за крепленного обычаям, рабской привычкой подставлять шею под хомут и покорно тащить воз. Бесков, лишенный звания заслуженного мастера спорта при Сталине за неудачу на Олимпиаде 1952 года и снятый с поста тренера сборной СССР при Хрущеве, Бесков, которому практически никогда не давали довести задуманное до конца, которого подсаживали, снимали, изгоняли с капитанских мостиков клубных и национальной команд, испытал по полной программе эту особенность отечественного обращения с людьми неординарными, резко выделяющимися, как его московские друзья из мира искусства режиссер Юрий Любимов, драматург Леонид Зорин, первый аналитик советской футбольной журналистики Аркадий Галинский, как его питерские коллеги Владимир Кондрашин и Вячеслав Платонов.

К вмешательству политики в спорт, как полагают биографы трех великих тренеров, дело не сводится. Есть силы в человеческом обществе куда более влиятельные, чем власти с их репрессивно-силовым аппаратом, силы, коренящиеся в самой природе человека, не с тоталитаризмом рождающиеся и не при демократии умирающие. Одна из них, страшная по своей разрушительности, – зависть. Недаром же Юрий Олеша, оставивший самые поэтичные строки в русской прозе о футболе, назвал свой лучший роман «Зависть».

Четыре года назад, в канун чемпионата мира в Японии, Бесков сказал мне, вспоминая своих гонимых друзей из мира искусства:

– А кто их травил, подсаживал, выгонял? Завистники. Бесталанные негодяи из зависти могут оклеветать любого стоящего человека. Талантливые люди, как правило, на это очень болезненно реагируют.

В немецком пивном ресторане...

Мы сидели с кумиром моей юности в немецком пивном ресторане в Москве, на углу Садово-Триумфальной улицы и площади Маяковского, овеваемые теплым майским ветром; из репродукторов на площади лилась музыка, под которую мы ходили школьниками на первомайские демонстрации («Утро красит нежным светом стены древнего Кремля»), а когда она стихала, Ростислав Орлов рассказывал по радио, как проходит традиционная майская эстафета по улицам столицы... Константин Иванович пригласил меня поговорить

о его «жизни в искусстве» не домой, где жена, Валерия Николаевна, затеяла праздничную уборку, а в ресторан на свежем воздухе, под окнами его дома. Любители пива, потягивающие, как и мы, то темное, то светлое баварское, откровенно прислушивались к нашему разговору, некоторые даже пытались к нам подсесть и получить у легендарного футболиста автограф; слышущий в футбольной среде жестким, суровым, даже невозможным, Бесков (фильм режиссера Алексея Габриловича по сценарию Евгения Богатырева и Александра Нилина назывался «Невозможный Бесков») мягко остановил мою попытку распорядиться на его территории, попросил болельщиков позволить нам поработать и пообещал всем дать автографы после окончания разговора.

Естественно, за месяц до открытия мирового футбольного первенства в Японии я не мог не попросить такого знатока игры, как Бесков, на звать будущего чемпиона.

– Боюсь, что это Германия. Знаю, знаю, что на нее мало кто ставит, что у немцев нет Зидана, нет Оуэна, но они и раньше, случалось, выигрывали у превосходящих их по классу, по таланту игроков команд и становились чемпионами за счет очень высокой игровой дисциплины, полной самоотдачи и холодного расчета.

Я спросил, как выступят в мундиале 2002 года наши, в каком состоянии пребывает отечественный футбол.

– Наш футбол сейчас буксует. В Англии в сорок пятом мы сыграли очень достойно. Советский футбол шел тогда по правильному пути. Талантов у нас всегда хватало, но тех, кто ставил талантам палки в колеса, тоже. Не везло нам на руководителей футбола, очень не везло... Вы даже не представляете, сколько ко мне пережил из-за этих деятелей, негодяев по натуре. Они не давали мне работать всю жизнь. Обидно. Не столько за себя, сколько за наш футбол. Он достоин лучшей доли.

Он ушел с обидой

Он так и ушел от нас с обидой. Завистники, мелкие и подлые, занимавшие крупные посты и должности, лишили Бескова возможности сотворить команду мечты, его и нашей. В 1963-м назначенный руководить сборной СССР с прицелом на английский чемпионат мира, Бесков, создавший, по оценке авторитетного издания «Франс футбол», «самую мощную и интересную команду, какая когда-либо была у Советов», имел в своем распоряжении игроков одной с ним футбольной крови, – Льва Яшина, Альберта Шестернева, Валерия Воронина, Валентина Ивановна, Игоря Численко, самородков, умниц и тружеников. (К мировому чемпионату-66 Бесков собирался привлечь в сборную Эдуарда Стрельцова.) Такой «оси», на которой вертелась игра-песня, игра-сказка, игра-фантазия, такого острого копья, способного про ткнуть любой оборонительный щит, не было в то время ни у Англии, ни у Германии, ни у Португалии, ни у Италии, ни у Бразилии...

За два года до перелета через Ла-Манш сборная Советского Союза, тренируемая Бесковым, сокрушив сборные Италии, Швеции, Дании (из 31 проведенного матча она проиграла всего один), приехала в Мадрид и в финале Кубка Европы на «Сантьяго Бернабеу», в при-

сутствии самого каудильо, правителя Испании генералисси муса Франко, уступила хозяевам поля с разницей в один мяч. Серебро Мадрида стоило должности старшему тренеру сборной К. И. Бескову и начальнику команды А. П. Старостину.

Спортивные чиновники, выполняя волю цековских «главначпупсов», лишили Бескова команды-мечты, а нас, гордящихся своей потрясающей командой, обездолили: когда еще в наших краях столь удачно лягут карты и снова соберутся, встретятся такие звезды с таким звездочетом?!

Наша беседа 2 мая 2002 года (последняя с Бесковым с глазу на глаз, потом мы общались только по телефону) затянулась, к тому же Константин Иванович, человек обязательный, долго давал, как пообещал, автографы на футбольных программках, ресторанных меню и даже 500-рублевых ассигнациях. Посмотрев на часы, решительно, в стиле «невозможного Бескова», встал из-за столика, энергично пресек раздачу автографов, и мы вышли из ресторана.

У входа в свой дом Бесков, прощаясь, по пенял мне:

– Мы, кажется, неплохо поработали, но из-за вас я пропустил футбол по НТВ, который просто не имел права пропускать – «Реал»– «Барселона»...

Ночью 17 мая 2006 года, когда я смотрел финал Лиги чемпионов «Барселона» – «Арсенал», болея попеременно то за лондонцев, то за барселонцев, а больше всего за красоту, когда на кухне успокаивал себя до утра зеленым чаем и прокручивал на экране памяти другие потрясающие спектакли с участием сборных Бразилии, Венгрии, СССР, Италии, Франции, Голландии, то жалел только о том, что не могу, как раньше, позвонить на следующий после матча день в Москву и спросить: «Ну, как Вам, Константин Иванович, “Барселона”?..»

И одно это делало горьким послевкусие от замечательной игры современных чудотворцев футбола, какими были в свое время Пушкаш, Пеле, Кройфф, Беккенбауэр, Платини, Марадона. И наши – Федотов, Бобров, Яшин, Стрельцов. Каким был и навсегда останется в памяти Константин Бесков, скрывавший под строгим ликом «невозможного» укротителя строптивых, по-английски безупречного и холодноватого джентльмена-аристократа русскую сердечность и мятушуюся душу вечно юного романтика вечно юной игры.

2006

Гений во всём

В шахматах, по мнению Виктора Корчного, было два безусловных гения – Капабланка и Таль. «Если бы Таль не стал шахматистом, – сказал Корчной в одном из интервью в феврале 2006 года, – он был бы гением во всём – в литературе, музыке, в чем угодно».

1. Небесный вратарь. Реквием по Талю

1990 год мы с женой встречали в Риге, дома у Таля. Когда в Москве куранты пробили полночь, а в Риге было одиннадцать, Миша сказал: «Пора, рога трубят. Оккупанты, поднимем бокалы»...

Через полчаса он предложил налить еще по одной и выпить за Новый год под девизом: «Мигранты всех стран, соединяйтесь!»

В третий раз мы встретили Новый год ровно в полночь по местному времени – вместе с коренным населением, к которому хозяин дома не без оснований относил и себя.

После двух тяжелейших весенних операций Миша выглядел маленьким, почти бесплотным, с утончившимся ослабевшим голосом. Присутствие прежнего Таля ощущалось по его непрерывным остротам и строгости контроля за действиями ми виночерпия – стоило замешкаться, как раздавалось его слабое, но властное: «Алеша, наливай!..»

Через несколько минут после того, как мы окончательно встретили Новый год – по «коренному времени», Таль взял телефонную трубку, потыкал пальчиком кнопки и – неожиданно – своим прежним глубоким и красивым баритоном сказал: «Лева, здравствуй, это Миша. С Новым годом и вас, и Валю. Геля кланяется. Как вы себя чувствуете?.. Понимаю... Понимаю... Ну я-то ничего. Почти в норме. Еще раз – всего вам самого доброго». Мы подняли чаши за здоровье Льва Ивановича Яшина. Я и не знал, что Миша с ним так близок. Сказал ему об этом. Миша удивился моему удивлению: «Ну как же! Мы ведь оба – вратари».

Действительно, вратари. Великий земной вратарь Яшин. И небесный вратарь – даром, что зовут его не Петр, а Михаил. Здесь, на земле, Миша играл в воротах за факультетскую команду Латвийского университета, страшно гордился этим, очень сокрушался, что из-за нездоровья не мог самолично защитить ворота журналистской сборной от атак нового чемпиона мира Гарри Кас парова, и консультировал меня, гандбольного вратаря в студенческом прошлом, как стоять в голу против тринадцатого шахматного короля.

Владимир Набоков, в студенческие годы тоже игравший в воротах, однажды заметил, что в одинокости и независимости голкипера есть что-то байроническое.

Байроническо-романтическое, даже демоническое впечатление Миша производил только на поверхностных наблюдателей. Однажды при мне известный режиссер предложил Талю без проб сняться в задуманном им телевизионном сериале «Мастер и Маргарита» в роли мессира Воланда. Таль рассмеялся: «А что, надо подумать над вашим предложением...» Не было в нем ни колдовского огня, ни дьявольщины, ни романтического ореола. Все это свойственно иллюзорному утопическому сознанию, слабому, мятущемуся разуму, а Таль был наделен не только редчайшим шахматным интеллектом, но и сильным разумом, здравым смыслом, чувством реальности. Утопии никогда не увлекали его, жившего в стране воплощенной утопии. Он был антиутопистом и «аромантиком». Миша непременно бы переспросил: «Аромантик?! А, понимаю, помнишь аптеку на базаре в Гагре – “Предметы асанитарии и агигиены”?»...

Таль – веселое имя, Таль – легкое имя, повторим за Александром Блоком слова, отнесенные им к Пушкину. Да, веселое и легкое имя, скажем мы сегодня, когда Таля уже нет

с нами. Скажем так, хотя большую часть жизни его рвала на части стая злых, неотступных болезней, десятой доли которых хватило бы, чтобы свалить любого атлета, любого Голиафа, но бессильных до поры в единоборстве с этим легкоступающим Давидом. Скажем так, хотя жил он в стране, где девочка с васильковыми глазами на одном из талевских выступлений в российской глубинке удивленно спрашивала маму: «Ну что ты, мама, говоришь, какой же Таль еврей! Он же такой добрый и замечательный...»

Он жил в этом вывихнутом мире, в мире больного, омраченного сознания и одним своим присутствием смягчал сердца, облагораживал души, заставлял протягивать руки непримиримых противников, объединенных одним – любовью к Талю.

Собственно, Таль – это имя для статьи, для истории, для вечности. Для современников он – Миша. Для внучек – дедушка Ми ша, для сына Геры и дочери Жанны – папа Миша. Для жены Гели – Миша. И для нас, близких и дальних, – Миша.

Лучше всех сказал о нем Борис Спасский: «Ми ша – явление Христа народу». Спасский познакомил нас с Талем тридцать восемь лет назад в Ленинграде на каких-то шахматных соревнованиях. Мы с Борей учились на первом курсе филфака Ленинградского университета, Миша – на втором курсе филфака Латвийского университета в Риге. Это было давно, в эпоху доисторического материализма, когда ленинградец Спасский был гражданином СССР, а не Франции, а Миша излучал свет добра, нежности и человеческого участия, тот свет, который и позволил Борису назвать его приход в шахматную жизнь явлением Христа народу.

Эта метафора Спасского, по-моему, нравилась Мише, хотя он полагал, что в его внешности куда больше свирепого, корсарского, чем жертвенного, добродушного, вегетарианского. Вегетарианцем, свидетельствую, он не был. Отличался кровожадностью: любил бифштекс по-татарски из сырого мяса, с кровью, густо наперченный. И для здоровых-то почек весьма ядовитое кушанье, а для талевской одной, нездоровой, – яд опаснейшей концентрации. Но в Таллинне в ресторане гостиницы «Таллинн» так готовили броневой татар-бифштекс, что невозможно было его не заказать и не залить пожар в чреве пинтой чего-нибудь покрепче и похолоднее. Он вообще яростно любил все, что врачи ему категорически запрещали: соленейший восточный соевый соус, маринованный чеснок и гурийскую капусту, все острое, пряное, режущее, колющее, пропарывающее внутренности – чтобы было чем залить вечное пламя.

Миша принимал жизнь страстно, он заражал своим раблезианством, аппетитом к жизни, неистощимо изобретательной на удовольствия, радости, наслаждения.

Гурман в застолье, он не был рафинированным эстетом в искусстве, особенно в словесности. Мэтры модернизма, утонченные интеллектуалы словесной игры, магистры ордена игры в бисер не числились среди его любимых авторов. Он отдавал явное предпочтение реализму. Магическому, фантастическому, но реализму – от Булгакова до Маркеса. А самой близкой его мироощущению книгой была диалогия Ильфа и Петрова о похождениях Остапа Бендера, в котором помешанные на политике современные исследователи усмотрели фигуру отца народов Иосифа Виссарионовича, а в Ильфе и Петрове – ярых сталинистов. Это, несомненно, позабавило бы исследователя их творчества, выпускника историко-филологического факультета М. Таля, хотя к гипотетическому литбрату О. Бендера – И. Сталину – Миша относился весьма определенно и чувств своих не скрывал, хотя и не афишировал их во времена не столь отдаленные.

Миша бросался в огонь шахматных атак, не очень-то заботясь о технике личной безопасности, о подстраховке. Но с дубом он как отдельно взятый гражданин-теленек не бодался. Не по причине недостаточности личного мужества – в этом никто не по смеет упрекнуть бесстрашного вратаря, лихого тореро, отчаянного шахматного корсара. Сдается, что тут дело в другом. Думаю, просчитав на много ходов вперед, «великий комбина тор» увидел, что матом эта комбинация не завершается. Даже так скажу: он нашел мат, но, поскольку дело происхо-

дило не в игре на 64 клетках, а в жизни, которую он никогда с игрой не путал, в жизни, где матом королю партия не кончается, он понял, что дело не в том, чтобы проклятый дуб свалить, а в том, что на его месте вырастет: какой баобаб, какой левиафан, какое чудище, а если это снова будет чудище, то стоит ли биться лбом о стенку и не поискать ли спасения на путях ненасильственного сопротивления злу, на путях победы зла добром и только добром?..

Кровожадным Таль был только в ресторации. Агрессивным только за шахматным столиком. Добрее и сердечнее человека, чем этот прожженный игрок, трудно себе и вообразить. Наделенный редчайшей силой духа, он неопровержимо доказал всей жизнью, что есть такие крепости, которые не могут взять ни большевики, ни националсоциалисты, ни какие другие вооруженные до зубов оружием ненависти сильные мира сего. Эти крепости – наш разум, способный видеть все при свете дня, наши души, залитые светом любви.

Неправда, что только смерть придает личности ее истинный масштаб. Спору нет, бывает и так. Может быть, чаще всего так и бывает. Но разве мы не знали при жизни Таля, кем он был? Знали: гений. Давно было сказано, давно вошло в обиход и стало как бы видовым обозначением Таля: малина – ягода, во робей – птица, лосось – рыба, Таль – гений.

Когда я написал об этом в книге о шахматном единоборстве Карпова и Каспарова «Каисса в Зазеркалье», мой шахматный консультант, фактический соавтор и герой книги Михаил Таль поставил на полях рукописи маленький, но, как мне показало, ехидный знак вопроса. Встревоженный, я позвонил ему из Ленинграда в Ригу (дело было в 88-м):

– Миша, в этой классификации что-то не так?

Миша только хмыкнул:

– Очевидно, у меня тут были сомнения относительно лосося или воробья, уж не помню...

Разумеется, ты можешь оставить все, как считаешь нужным.

Небесный вратарь ушел туда, где нет деления людей на эллинов, иудеев, арабов, русских, китайцев, где нет границ, без которых – единым человеческим общежитием – мечтал жить наш с Мишей любимый поэт школьных лет.

Единогочеловечье, судя по всему, в обозримом будущем не предвидится. Но люди планетарного сознания, знающие, что «родное и вселенское не два, а одно», слава Богу, еще рождаются на земле. Одним из них был Михаил Таль, пришедший в этот мир 9 ноября 1936 года и ушедший от нас 28 июня 1992 года.

Михаил Таль. Сын гармонии, небесный вратарь. Человек, вызывавший и вызывающий всеобщую любовь.

1992

2. Душа моя – только человеческая

У каждого свое представление о земном рае.

В моем – озеро, теплая лунная ночь, друзья, разгоряченные баней и остуженные озером, стол с ухой и жареными судаком, сигом, щукой, отварной картошкой, малосоленными огурчиками. Редкое для севера лето с густым дремотным теплом, ленивым ветерком, запутавшимся в верхушках берез и сосен, под которыми мы славим жизнь, смеемся, балаболим, поем, читаем стихи, и только иногда кольнет вдруг в сердце: это слишком хорошо, чтобы быть правдой...

Мы похитили Мишу у любителей шахмат Петрозаводска и привезли сюда, на дачу к моему другу, за сорок верст от города – чтобы он пришел в себя от сеансов на тридцати-сорока досках, лекций, интервью, официальных и полуофициальных обедов; он не спит уже третьи сутки, но по дороге покемарил в машине полчаса, по плавал в Ангозере, с наслаждением покурил на мостках и теперь вот ведет стол и с чувством поет из «Пиковой дамы», потом «Очи черные»,

потом Высоцкого. Просит меня почитать стихи. Я читаю Лонгфелло, «Псалом жизни», бунинский перевод:

*Не тверди в строфах унылых:
«Жизнь есть сон пустой!» В ком спит
Дух живой, тот духом умер:
В жизни высший смысл сокрыт.*

*Жизнь не грезы. Жизнь есть подвиг!
И умрет не дух, а плоть.
«Прах еси и в прах вернешься», –
Не о духе рек Господь.*

И еще из того же псалма:

*Жизнь великих призывает
Нас к великому идти,
Чтоб в песках времен остался
След и нашего пути.*

Миша, может быть, самый свободный человек из всех, с кем меня сводила судьба, он живет так, как хочется – вольно, свое вольно, но в его своеволии, раскованности нет ничего подавляющего чужую волю, обижающего, пусть даже ненароком, незначай, другого человека; выпад этого искуснейшего интеллектуального фехтовальщика молниеносны, от них нет удовлетворительной защиты, он, как Сирано, обязательно попадет «в конце посылки» – но, повторяю, это не смертельно, не надо только пыжиться, надувать щеки, надо быть самим собой, надо дать вовлечь себя в этот талевский водоворот, и тогда тебя тоже понесет, и ты обнаружишь, что не переворачиваешься в этом бай дарочном слаломе, а если и перевернешься разок-другой, не беда, он не даст тебе утонуть, его рапира не только клинок разящий, но и удлиненная рука помощи...

Есть такие края на свете, где человек становится талантливее, чем он есть на самом деле. Есть такие люди на свете, в поле притяжения которых невозможно не стать – хотя бы на час, на день, на ночь! – талантливым, вдохновленным, не почувствовать себя избранным.

Михаил Таль – из таких людей. С ним всегда было легко, весело, свободно, он никогда не давал почувствовать другим, что он

небожитель, а мы, его окружающие, всего лишь земные человеки, попавшие к нему, к всеблагим на пир случайно, по прихоти судьбы и должны вести себя на этом пиру скромно, не забывая о масштабах, уровнях и прочих соизмеримостях... И все-таки каждый, кто давно знал Талья, и пользовался его расположением, никогда не забывал, что имеет дело с гением, с великим шахматистом и человеком. Иначе с чего бы это я вдруг удумал читать стихи о великих, о подвиге их жизни – кто-то же внушил мне, что они здесь уместны, в этом земном раю?..

И снова, через восемь лет, повторяю про себя строки из этого псалма: «И умрет не дух, а плоть...»

Желтый песок сыплется на гроб с телом Миши. Желтый песок и деревянные шахматные фигурки – белые и черные (это идея Ратко Кнежевича, черногорского серба, старинного Мишиного друга, – опустить в могилу шахматного маэстро комплект фигур). Хмурившееся с утра небо роняет капли дождя на песок, на деревянные коней, на розы на земляном холмике над могилой.

Печально поет скрипка. Листья раскидистых кладбищенских деревьев не колышатся.

Рига. Кладбище Шмерли. 2 июля 1992 года. 13 часов 35 минут местного времени. Миша ложится в землю рядом с отцом и матерью.

За час до полудня в Рижской еврейской общине было прощание с Михаилом Талем. В почетном карауле у гроба можно было уви деть и парламентариев Латвийской республики, и министра, и руководителей спортивных ведомств, и гроссмейстеров, мастеров, арбит ров, как местных, так и приехавших из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов...

Помню кадры старой, 1960 года кинохроники, тысячи рижан встречают вернувшегося с триумфом из Москвы нового, восьмого в истории, шахматного чемпиона мира 23-лет него Михаила Таля. Машина с улыбающимся чемпионом, увенчанным лавровым венком, не может прое хать сквозь это море...

Автобус с гробом экс-чемпиона мира беспрепятственно следует вверх по улице Бривибас (Свободы), бывшей улице Ленина. И у улицы, где жил Михаил Таль, где живут сейчас его жена Геля, его дочь Жанна, юная способная пианистка, новое название. Не Горького, а Кришьяна Валдемара.

Геля с Жанночкой едут не с нами в автобусе, а отдельно – в машине. Прилетел на похороны отца и его сын Гера, Георгий Михайлович,

из израильского города Беер-Шева, приехала из Антверпена мать Геры – Салли.

Многие пришли проводить Мишу, Михаила Нехемьевича, гроссмейстера Талю в последний путь. Но людского моря нет. Нет особого внимания и со стороны газет Латвии.

Умер кто? Гений. Всего лишь гений. Не национальный герой за свободу и независимость Латвии, а шахматный гений, достояние не отдельно взятого государства, а все го мира.

Ему воздают почести мир и любящие его люди. Местное телевидение посвящает похоронам самого знаменитого рижанина второй половины XX века несколько минут в спортивном дневнике информационной «Панорамы». Газета «Диена» через день после похорон Талю, 4 июля, напечатала снимок почетно го караула у гроба с подписью: «В четверг Латвия простилась с человеком, который прославлял ее на мировой арене. Чемпион мира по шахматам Михаил Таль был дорогим гостем в каждом городе, однако для него самой близкой всегда была родная Рига».

Если бы Михаил Таль боролся за нашу и вашу свободу, как писали совсем недавно в газетах Балтии, если бы у него была латышская фамилия, его похороны, осмелюсь предположить, не носили бы подчеркнуто камерного характера, им постарались бы придать другой масштаб – общенационального, государственного горя. Так, как было 4 июля, через день после прощания с Талем, когда Рига, Латвия хорони ла знаменитого кинорежиссера Юриса Подниекса, утонувшего во время подводной охоты. Тысячи людей прошли через Домский со бор, прощаясь с национальным героем Латвии, борцом с тоталитаризмом. Вся церемония прощания передавалась по телевидению, в прямой трансляции. Все руководство независимой Латвии пришло в это утро в Домский собор.

Я с уважением отношусь к под вигу жизни Юриса Подниекса. Я высоко ценю его позицию, которую он выразил, вы ступая недавно по национальному телевидению: «Сначала я человек, а потом – латыш».

Подниекс варился в самой гуще политической борьбы, он отчаянно сражался за независимость родной Латвии, но не уставал подчеркивать, что ему «непонятен шористый латышский национализм». Он, Подниекс, восторгался человеческим умом независимо от национальности.

Михаилу Талю, далекому от поли тики, с ее неизменной однозначностью, прямолинейностью и пристрастностью, Михаилу Талю,

убежден ному демократу, еврею по крови, латышу по рож дению, русскому по культуре, человеку абсолютно не за шоренному, был абсолютно чужд любой национализм, всякий намек на племенной подход к людям и народам. Вот кто мог бы, как свои, повторить слова замечательного русского поэта и писателя А. К. Толстого: «Я не принадлежу ни к какой стране и вме-

сте с тем принадлежу всем странам зараз. Моя плоть русская, славянская (тут Миша, несомненно, вставил бы: “Возможны варианты”. – А. С.), но душа моя – только человеческая».

И когда мы поминали Мишу в доме 34 по улице Валдемара, кто-то сказал, что Миша, несмотря на все свои хворобы, был наделен такой силой духа, такой волей к жизни, что и тут, на последнем, как оказалось, рубеже мог бы дать бой смерти, мог бы найти гениальную комбинацию и выиграть партию, но не захотел – не захотел жить в ми ре, где брат поднялся на брата; все в Мише восстало против такого порядка вещей и он ушел, как бы протестуя, как бы призывая всех нас опомниться, пока не поздно...

1992

3. В Ригу к Талю. Десять лет спустя

Не Калиостро – Моцарт!

Раньше, при жизни, у него в родной Риге был один адрес: ул. Горького (ныне Кришьяна Валдемара), 34, кв. 4. Теперь, когда его нет с нами уже десять лет, у него два приюта под балтийскими серыми, цвета металлик, небесами: в домовине нового еврейского кладбища, рядом с отцом, матерью и старшим братом, и на глыбах красного гранита в Верманском (бывшем Кировском) парке, в самом центре Риги; здесь он – огромная бронзовая голова – один: красивый, двадцатидвухлетний, не Калиостро – Моцарт, аллегория «Вдохновение».

Когда 28 июня 1992 года он умер – тяжелую мученическую смерть принял, даже сильнодействующие наркотические препараты не унимали боль – в рижском журнале «Балтийские шахматы» написали: «Загадка феномена Михаила Талья не разрешена и не может быть разрешена однозначно, подобно тайнам Микеланджело, Паганини и Калиостро. Пока существует шахматный мир, на его небосклоне всегда будет сверкать ярчайшая, загадочная и притягательная звезда по имени Таль».

Катет длиннее гипотенузы

Триумф иррациональности в шахматной партии привлекал его больше, чем торжество логики. Двадцать лет назад, объясняя свои шахматные пристрастия, Таль заметил: «На доске ведется яростная борьба, подчиненная глубокой идее, все продумано до мелочей, планы осуществляются точно в срок, а исход сражения решает ход конем в угол доски, не имеющий ничего общего с главным мотивом драмы... Выражаясь математическим языком, мне больше всего нравится в шахматах миг, когда катет длиннее гипотенузы!»

Жизнь иррациональна, как лучшие партии Талья. В ней, как на доске у «балтийского корсара», катет почти всегда длиннее гипотенузы, вопреки всем постулатам эвклидовой геометрии. В жизни все подчинено второму закону термодинамики, все, как Гавриил Державин написал, «вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы», и только память, одна лишь память может побороться с небытием.

Сколько вспомним, столько и отвоюем у энтропии. Сколько помним человека, столько он и живет. Это касается и нас, простых смертных, и бессмертных, гениев человеческого рода.

Десять лет спустя

Десять лет я не был в Риге, с того самого дня как проводил Мишу в последний путь вверх по Бривибас, на еврейское кладбище Шмерли.

Это было 2 июля 1992 года в столице независимой Латвии, а умер он в Москве, в больнице на окраине российской столицы, 28 июня.

Не был в Риге не потому, что надо получать визу, не из-за обиды на родной город гения, более чем скромно попрощавшийся со своим знаменитым сыном. Просто Рига, да простят мои

рижские друзья, для меня без Миши опустела и стала на голову ниже, как Россия, оставшаяся без Андрея Дмитриевича Сахарова.

Ума и совести становится меньше в мире, когда его покидают люди масштаба Андрея Сахарова, Мераба Мамардашвили, Михаила Таля, Иосифа Бродского. У каждого свой скорбный лист памяти, свой перечень ушедших, которые (жизнь и после жизни парадоксальна и иррациональна), переселясь в вечность, стали для нас, продолжающих мотать свой земной срок, еще ближе и незаменимее, чем были, когда мы находились в одном временном измерении, когда можно было, сняв трубку, набрать «8», после гудка – 013, номер абонента 27-00-59 и услышать густой баритон абонента (с таким голосом в Ла Скала надо петь, а не фигурки по доске двигать!).

Тень Альцгеймера

Признаюсь, для подстраховки, чтобы несуществующий теле фонный номер не перепутать, я полез в письменный стол за старой записной книжкой: тень Альцгеймера нависает не только над Рональдом Рейганом, не одни мартышки слабеют к старости глазами, ушами, рассудком. Миша, слава Богу, с Альцгеймером никогда не пересекался, память у него до последних дней была редкостная, он никак не мог уразуметь, почему я листаю записную книжку, чтобы позвонить из аэропорта «Шереметьево» в гостиницу «Спорт»: ведь замдиректора гостиницы, Мишин поклонник, дал нам свой засекреченный телефон всего две недели назад, «неужели ты (т. е. я) не запомнил?!»

Столько было принято на грудь на Мемориале Чигорина в Сочи за эти две недели, в авиарейсе Адлер – Москва, что я свой-то домашний телефон забыл, а Миша, поддерживаемый мной, с трудом разлепляющий губы, диктовал мне сначала телефон замдиректора «Спорта», потом телефон своего московского друга Семена и, наконец, Алика Рошалья, чтобы узнать, в каком положении отложена очередная партия безразмерного матча Карпов – Каспаров... Говорить по телефону, а тем более записывать позицию он не мог, но все телефонные номера назвал точно, а в такси из аэропорта до гостиницы, покемарив минут пятнадцать и освежив мозг, погрузился – вслепую! – в отложенную молодыми гениями позицию и почти трезвым голосом вынес приговор: «Подергаются немного и разойдутся с миром...»

Творческая потенция не оставляла его до последнего мгновения. Через три года после нашего перелета из Адлера в Москву, вконец измученный болезнями (операции следовали одна за другой), он выиграл в Канаде первый чемпионат мира по блицу, опередив, что особенно согревало душу стареющего тореро, и Гарри Кимовича, тринадцатого шахматного короля, и Анатолия Евгеньевича, двенадцатого престолохранителя. А за две недели до смерти (печень практически уже не «чистила» кровь), исхудавший, в чем только душа держится, был вывезен друзьями из больницы на турнир по блицу на призы «Вечерней Москвы» и занял третье место, «прибив» действующего чемпиона мира Гарри Каспарова, к которому вообще-то испытывал стойкую приязнь, даже симпатию, что, впрочем, никогда не мешало ему размазать противника по доске...

За доской – пират: он говорил, что в его лице, нависающем над деревянными фигурами, есть что-то бульдожье, вне шахмат – сама доброта.

Борис Спасский, десятый шахматный земной владыка, в прошлом году, 10 августа, на открытии памятника Михаилу Талю в центре Риги говорил об уникальном, редко встречающемся на свете сочетании в одном человеке божественного дара и невероятной доброты, доброты в обоих смыслах этого слова – и как расположенности к людям-братьям, распахнутости любящего всех сердца, абсолютно не способного ненавидеть, и как щедрости – в талевском случае щедрость была бездонная, с точки зрения прагматиков граничащая с патологией...

Рига закована в латы

Никто с таким легкомыслием не относился к денежным знакам, как знаток ильфетровской одиссеи о приключениях благородного жулика с его вожденной мечтой о миллионе... Знавший едва ли не наизусть «Двенадцать стульев» и «Золотого тельца», Миша никак не мог взять в толк: из-за чего, собственно, сыр-бор в этих романах разгорелся, то есть умом-то он, разумеется, понимал воделеющих миллионы тугриков, но то, что в нас выше ума, что нами руководит, нас направляет, нами повелевает (за неимением другого существительного мы говорим «душа»), отказывалось всерьез относиться к этим миллионам, миллиардам, тысячам рублей, долларов, марок, крон, тугриков, лат...

Впрочем, лага тогда, кажется, еще не было. Это теперь Рига, как старый рыцарь, закована в латы. Тяжелые латы: в одном лате почти два доллара.

Город похорошел, помолодел

Будем справедливы: за те десять лет, что я здесь не был, Рига похорошела. Свобода ей к лицу, свежему, умытому, настаивающему на своей чистоте как родовом знаке отличия. Петербургу, тяжело, насадно, со скрипом готовящемуся отметить свое трехсотлетие, не грех бы поучиться у соседа по Балтике рвению, с каким он охорашивается, соблюдая в реставрационных делах благородную гармонию между бережением памяти, сохранением исторической точности и современным размахом, яркостью, свежестью красок постиндустриальной цивилизации, бережно вписывающей свои творения в прекрасный мир дюн, сосен балтийского взморья, в прохладную тишину рижских парков.

Риге к лицу парки, как Санкт-Петербургу набережные, а Москве – бульвары. Риге очень идет, что в одном из лучших ее парков рядом с большими деревьями люди, воюющие с забвением одним доступным им оружием – памятью, установили памятник своему великому гражданину, в котором, по правде говоря, величия не было ни на грош, зато любви, сердечной теплоты и серых клеточек в обоих полушариях мозга хватило бы на целый мегаполис...

Не пустой для сердца звук

Я должен назвать этих людей, для которых, как и для меня, для тысяч петербуржцев, россиян имя Михаил Таль – не пустой для сердца звук, которые руководствуются в своей жизнестроительной практике мудростью древнекитайских философов, советовавших: «Когда пройдет дождь, приведите в порядок могилы своих предков». Это они – шахматный мастер Валентин Кириллов, последний тренер Таля, перворазрядник, доктор инженерных наук, профессор, депутат Рижской думы Олег Щипцов, поэт, видный общественный деятель, первый посол восстановившей свою независимость Латвии в России Янис Петерс, предприниматели Хайм Коган и Виктор Красовицкий, выдающийся латышский скульптор Олег Скарайнис, архитекторы Гунтис Сакне и Лелде Штерна – сделали все, чтобы в дни празднования восьмисотлетия Риги Миша был явлен граду и миру рядом с «Вернисажем», музыкальным, культурным центром столицы Латвийской Республики, на верандах-галереях которого Таль и блицевал, и играл серьезные партии: Миша был бы доволен, говорили мне друзья восьмого шахматного короля, что ему нашли в городе такое замечательное место.

Валя Кириллов, мой старый знакомый, сделавший мне царский подарок – шесть томов творческого наследия М. Таля (шестой том только что вышел, готовится к изданию седьмой, куда войдут его журнальные и газетные публикации), рассказал о забавном – в духе самого Таля, великого остроумца и пересмешника, человека с абсолютным чувством юмора, – эпизоде, случившемся в «Вернисаже» в день открытия памятника Михаилу Талю.

Как памятник открывали

Надо сказать, что в пятницу, 10 августа 2001 года в Верманском саду был устроен грандиозный шахматный бал, главными фигурами которого были гроссмейстеры Борис Спасский,

прилетевший из Парижа, ученик Таля Алексей Широ, один из сильнейших гроссмейстеров мира, принявший испанское гражданство, но в последние годы живущий подолгу то в Вильнюсе, на родине своей юной жены,

очаровательной Виктории Чмилите, то в родной Риге, гроссмейстер из Литвы Виктория Чмилите и... сам виновник торжества – Михаил Таль. Первые трое гроссмейстеров перемещались между столиками, давая сеанс одновременной игры, а Миша скромно сидел в углу одного из залов «Вернисажа» перед доской с позицией из партии со Спасским (турнир звезд в Монреале, апрель-май 1979 года) – слон бьет с шахом на h2, после чего позиция белых безнадежна.

Кириллов, подведя знатного парижского гостя к «восковой персоне» М. Таля, спросил Спасского, помнит ли он эту партию, на что Борис ответил: «Еще бы... Повозил он меня тогда знатно».

Когда шахматная часть праздника закончилась, хозяева позвали всех собравшихся в зал, где уже были накрыты нешахматные столы. Гости дружно и разом устремились в сияющий, сверкающий зал к запотевшим бутылкам, семужке, осетринке и прочим рольмопсам. Все, кроме одного, склонившегося над позицией, где у него была матовая атака.

Служитель «Вернисажа», заглянувший в выставочный зал, где были развешаны фотографии и размещены боевые трофеи «рижского корсара», попросивший всех покинуть помещение и собиравшийся погасить в нем свет, увидев, что один из шахматистов не встает из-за столика, грозно спросил: «А вас, что, это не касается?..»

Распалась дней связующая нить...

Нас, кто любит и помнит Михаила Таля, все касается – и то, что до сих пор нет в Риге улицы его имени (хотели было в Городской думе присвоить его имя одной из окраинных улочек, но депутат Щипцов воспротивился и уговорил коллег не делать этого: Таль заслужил, чтобы его имя носила одна из улиц в центре Риги). И то, что сорванная неустановленными вандалами в 1996 году мемориальная доска на его доме, открытая 9 ноября 1993 года, до сих пор не восстановлена. И то, что в квартире Таля нет музея великого рижанина (не сумели в свое время наскрести восемнадцать тысяч долларов, чтобы выкупить квартиру у объявившегося собственника дома), а помещается ныне одно из торговых представительств...

28 июня, в десятую годовщину по смерти Михаила Таля, мы с Валею Кирилловым и Олегом Щипцовым возложили цветы – гвоздики, розы и любимые Мишины желтые фрезии и на могилу, и к памятнику в Верманском саду, а потом сели за стол, сооруженный стараниями жены Олега Татьяны Чернявской, преподавательницы консерватории,

и вместе с подъехавшим президентом шахматной федерации Латвии, молодым успешным главой крупной строительной корпорации Валдисом Колнозолсом стали вспоминать Мишу, всевозможные веселые истории, с ним связанные. Постных, печальных физиономий вокруг себя Миша не выносил и не хотел, чтобы его вспоминали с похоронным выражением на лицах. Свою последнюю любовь Марину Филатову, нашу землячку, на руках которой Миша умер, он за день до смерти просил не приезжать в Ригу на похороны («это дело семейное») и еще попросил ее в Питере на девятый день после смерти устроить поминки для своих питерских друзей и непременно сделать шашлык...

Миша любил шашлыки, Тбилиси, Грузию. Я тоже люблю Грузию, но не бывал в ней еще дольше, чем в Латвии. «Распалась дней связующая нить. Как их обрывки нам соединить?..»

2002

Превзошедший самого себя

Сокрушительные удары

О чемпионе мельбурнской Олимпиады Геннадии Шаткове, великом боксере, ставшем за гранью ринга великим человеком, первым в литературном журнале написал Герман Попов, блокадный мальчик, учившийся, как и Геннадий, в Ленинградском университете. Очерк «Победа, не увенчанная олимпийской медалью» напечатала «Аврора» в августовском номере за 1972 год, в канун Олимпийских игр в Мюнхене. У ног сидящего в кресле сильного мужчины в хемингуэевском свитере, изображенного на фотографии, лежала огромная собака.

За финальный бой, выигранный на ринге в Мельбурне в 1956-м, Шатков получил орден Ленина от советского государства и золотую медаль от Международного олимпийского комитета. Бой, выигранный Шатковым у судьбы после тяжелого стволового инсульта в 1969-м, не увенчанный наградами, навсегда сохранится в нашей памяти.

У Шаткова (это запомнилось при нашей первой встрече в феврале пятьдесят седьмого в студенческом общежитии университета на улице Стахановцев) была красиво посаженная голова и «веселые глаза человека, которого не победить». Так писал о старом рыбаке Эрнест Хемингуэй, получивший за повесть «Старик и море» Нобелевскую премию в пятьдесят четвертом. В тот год я поступил в университет, а Шатков был на последнем, пятом курсе.

Человек с веселыми глазами, с головой роденовского мыслителя и спиной портового грузчика, в элегантном темно-синем костюме, пришел на встречу к своим коллегам студентам и аспирантам юрфака, жившим в общежитии на Малой Охте, и к нам, филфаковским студентам и студенткам: девы-филологини составляли подавляющее большинство нашего факультета. Они как никто сумели оценить его красоту, обаяние силы и мужественности, отсутствие рисовки и позерства, свойственные нашему брату, окруженному повышенным женским вниманием. Он держался естественно, рассказывая о мельбурнской эпопее, не кичился силой и удачливостью, хотя газетчики и радиокомментаторы захлебывались от восторга, описывая бег Владимира Куца по дорожке мельбурнского стадиона и бои первых советских олимпийских чемпионов по боксу Владимира Сафронова, Владимира Енгибаряна и Геннадия Шаткова, удар которого, как сказал в интервью австралийским газетчикам его противник в финале чилиец Роман Тапиа, «сначала чувствуешь, потом уже замечаешь».

Вблизи, совсем рядом, я увидел Шаткова впервые в тот зимний вечер пятьдесят седьмого, но уже имел представление о том, как он боксирует. Летом 1956-го в Москве проходил боксерский турнир Первой летней Спартакиады народов СССР. Ленинградец Шатков работал на контратаках и, усыпив внимание противника, проводил свою коронную комбинацию «тройку», завершая ее нокаутирующим ударом. «Но Шатков обладал не только сокрушительным ударом – техника его была блистательна, – писал чемпион токийской Олимпиады Валерий Попенченко. – Боксер-новатор, боксер-интеллектуал всегда вел на ринге тонкую и умную тактическую игру. Сочетание специфической, одному ему присущей мягкой вкрадчивой манеры, гипнотизирующей противника своей обманчивой медлительностью, с внезапным взрывным ударом делали Геннадия Шаткова опасным для любого противника».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.